

Андрей
Воронов-Оренбургский

СТАЛИНГРАД

ТОМ 5

УДАРИЛ ФОНТАН ОГНЯ



СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

РОМАН ИЗ ЦИКЛА «ЭШАФОТ»

Андрей Воронов-Оренбургский

Сталинград. Том пятый.

Ударил фонтан огня

«Автор»

2019

Воронов-Оренбургский А.

Сталинград. Том пятый. Ударил фонтан огня / А. Воронов-Оренбургский — «Автор», 2019

ISBN 978-5-532-05228-4

"Сталинград. За Волгой земли нет!" - роман-сага о чудовищной, грандиозной по масштабу и человеческим жертвам Сталинградской битве, равной которой не было за всю историю человечества. Автор сумел прочувствовать и описать весь ужас этой беспримерной кровавой бойни и непостижимый героизм советских солдат... Как это возможно? Не укладывается в голове. Но ощущение полное - он сам был в этом аду!.. Он сам был участником Сталинградской битвы... Книга получилась честной и страшной. Этот суровый, как сама война, роман, возможно, лучший со времен "Они сражались за Родину" М. Шолохова. Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-05228-4

© Воронов-Оренбургский А., 2019

© Автор, 2019

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	14
Глава 4	21
Глава 5	28
Глава 6	37
Глава 7	44
Глава 8	51
Глава 9	58
Глава 10	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Андрей Воронов-Оренбургский

Сталинград. Том пятый.

Ударил фонтан огня

Глава 1

... Два часа оттикали по циферблату, канули в пекло страданий. На душе Веры сделалось одичало и пусто, как на забытом затравленном лебедой и бурьяном гумне. Пока лежала, ужавшись в овчину, кусала подушку, горло распирали крик.

Худые мысли кружили чёрным вороньём. «Господи, огради! Только бы не убили... Только бы не убили его!» Встала, оделась, намотала портянки, сунула ноги в холодные, выстуженные сапоги, хотела поставить чайник, но не дошла до печи, снова упала на жёсткий лежак, задыхнулась в слезах, в муке, в чёрной пустоте хлынувшей в голову... А потом, прошло. Одубело, как будто, что-то в груди. Лишь на донце сердца сосало, томилось нечто колкое, похожее на жало пчелы, и точило сукровичную боль. Она хотела отвлечься, смотреть на катушку распутанный провод, но та, что гиря выпала из рук, закатилась за печку. Одна надежда осталась: утопить ворох тёмных мыслей в заботах по службе. Но пока разжигала щепку, память, как дрогкое эхо, упрямо повторяла их разговор.

– Миша, – она прислушалась к его рваному дыханию. – Спишь?

– Нэт.

– Можно ещё вопрос?

– Спрашивай. – Он уловил сухой и тревожный блеск её глаз.

– Что по-твоему война? – она притихла у его плеча.

Он помолчал, потом ровно ответил:

– Война... это конэц нас всех... людей.

Спокойный голос его обжэг Веру.

– А это тогда мир? – запальчиво прошептала она, глядя в чёрную дичь его глаз.

– Мир... – он бережно огладил её плечо, – это продолжение всех нас. Продолжение Человечества.

Ей было приятно ощущать на плече тяжесть его коротко стриженной головы. Он дышал полуоткрытым ртом, смуглая рука его, позабытая на её тугий девичьей груди, сонно шевелила мозолистыми от работы железными пальцами.

– Откуда ты всё знаешь?

– Ах, ты вруша! – он ласково сжал, податливо заполнившую его широкую ладонь, прерывисто дышащую плоть. – Ты сама всо прэкрасно знала наперёд. Разве, нэт, а?

– Я это я, ты это ты... У тебя всё, как-то убедительнее, правильнее, что ли...

– Хо! Я же не мужчина! – усмехнулся он.

– А ну-к, отстань смола! – она шлёпнула его по жадной руке. Крутанулась на бок, шмыгнула рукой за пазуху ночнушки и, краснее, глядя на Магомед влюблёнными глазами, сунула ему в руку мягкий, таящий тепло её грудей замшевый свёрточек. Прижимая подарок, Магомед ослепил её белизной своих волчьих зубов, спросил:

– Ва, что это?

– Увидишь... кiset бисером расшила.

Он властно притянул её к себе, хотел поцеловать, выразить свою благодарность, но она с силой упёрлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад:

– Ты всегда будешь такой, Миша?

– ? – он с удивлением посмотрел ей в глаза.

– Ну вот таким, феодалом – деспотом. От тебя так и веет беспрекословным правом первой ночи. Ты всегда такой непреклонный...

– Тебе нэ нравитца? – он отпустил её руку, сомкнул веки.

– Нравится, но...

– Я мужчина, – он свёл чёрные молнии бровей воедино, помолчал и неожиданно открыл свои горячие, аварские глаза. Они смеялись. Слепили насмешкой. Но вдруг обожгли своей властной строгостью. – Я горец. Воин. Я буду разный. Хороший и плохой. Очэн хороший и, быть может, очэн плохой. Но, клянусь, всегда буду с тобой. Потому что, ты, навсегда в моём сердце. А тепер спать. Это приказ.

Он спал. А она вновь передумывала вороха мыслей, моргала сухими глазами в душную, прогорклую от табака темь. Вспоминала ядовитые слова Ушаковой. – «Он же нацмен», «Чёрный», «Так уж у них заведено у них... по две жены иметь...» «Знай, национальные рога, один чёрт, вылезут, хоть тресни...» Думала Вера. Примеряла. Передумывала. И сходилась в одном. «Я чувствую его, как дышу. А за такую любовь, всё можно простить. Всё можно перетерпеть. Я женщина. А главные достоинства женщины, говорила мамочка: «Смирение, скромность, жертвенность и любовь».

* * *

– Время вышло, майор! – с угрозой прорычал фон Дитц. – Твой ответ.

– Это ваше время вышло, псы! Х...вам, а не Сталинград! Вот мой ответ! – он шумно и зло выдал красноречивый, говорящий сам за себя жест, хватил левой рукой по другой, согнутой в локте. – Ферштейн?!

Фон Дитц посмотрел на выброшенный к нему кулак, который был сжат в тугой из жил и кости буро-синий ком. На его нордическом лице не дрогнул ни один мускул. Затем перевёл взгляд на Танкаева и вдруг разразился хохотом.

– Ну, ты молодец! – воскликнул он. – Воин! Нет, ты решительно должен быть с нами. Prost! Неужели, такой наивный? Решил...я тебя отпущу?

«Не верь кабану в огороде, а волку в овчарне...» – теперь Магомед был готов ко всему.

– Тише, майн фройде, – точно угадав мысли комбата, предостерег полковник. – И орёл выше солнца не летает. Глупец! Разве, ты не понял ещё, что вернуть свою прежнюю репутацию красного командира у тебя столько же шансов, сколько у снежной бабы в аду. Не боишься, что красные комиссары возьмут тебя за горло?

– ?– Магомед остро взглянул на барона.

– Ну как же, после нашей незабываемой встречи! – зловеще упредил Дитц. – А они возьмут, будь уверен...если мы передадим им фотографии...Где, ты, майор Танкаев, во время жесточайших, кровопролитных боёв...Да, да, на передовой, в дружеской обстановке распиваешь шнапс с врагами Кремля... – Отто многозначительно постучал пальцем по объективу портативного фотоаппарата, что висел у него на груди. – И вот тогда...Максимум, что я смогу сделать...это отдать тебя в руки вашего военного трибунала. Как это у вас...НКГБ и СМЕРШ, не так ли? За это, майор, я полагаю тебя не только расстрелять, четвертовать следует, мм?

– Шакал...Сын шакала! – Магомед щёлкнул зубами, как волк, попавший в капкан.

– Момент! – фон Дитц отрицательно покачал головой. Если галантность мне говорит «нет», то осторожность мне говорит «да». О ля-ля, ты же у нас ещё и ком-му-нист? – Он усмехнулся и его ядовитое сожаление, и презрительные гримасы были неподдельны.

– Коммунист! – убеждённо рубанул Танкаев. – И моё слово крепкое. Посылай свой ком-промаст хоть шайтану! Знай: Родину, Честь – не продаю. А тебе не жить, зверь! – сквозь белую кипень стиснутых зубов прохрипел Магомед и, поводя плечами, прорычал по-аварски: – Клянусь Кровью, я вырежу ему сердце.

Багровея скулами, он схватился за отцовский кинжал, хотел ринуться на врага...

Но тот будто только и ждал, отпрянул в сторону и по-звериному прорычал в налитые бешеной кровью глаза горца:

Fort! Braunarsch! Schweinsleder!! Ты ещё узнаешь, гололобый дикарь, что такое волчий крюк!

Страшен и дик в своём исступлении был Магомед сын Танка. Слепая ярость кипела-плескалась в бойницах его глазах, – воплощение вековечной, неукротимой стихии, витающей в кавказских ущельях, яростной и лютой, воспроизводимой в каждом поколении горцев, той энергии, что пылала сейчас в его чернильных глазах. Всеми фибрами он ощутил страшную, всасывающую тягу войны и мести. Испытал спасительную ярость, – объясняющую и побуждающую ненависть, неодолимое желание отхватить кинжалом этому гитлеровскому псу голову...

Любой, кто рискнул бы сейчас встать на его пути, рухнул бы замертво с пронзённым насквозь сердцем.

Но не успел комбат выхватить из ножен кинжал, как эсэсовец вскинул руку в чёрной перчатке и тут же грянул выстрел.

Близко свистнула снайперская пуля. Ударила в костяной стаканец, стоявший перед комбатом, раздробила его вдрызг, осыпав лицо Магомеда брызгами шнапса. Танкаев остался на месте. Секунду, другую боролся с собою, дрожа от бешенства... Словно усы – знак чести мужской – опозорил он перед людьми своего рода. Но не перед волей Железного Отто, и уж тем более не перед снайперской пулей, остался его клинок в ножнах. Командующий Березин незримо встал перед ним. Магомеду даже померещилось на миг, что он увидел генеральскую фуражку комдива, широкие защитного цвета погоны и его строгое, изрезанное морщинами лицо, выжидающие глаза. Да, перед ним незримо стоял бывалый командир, воевавший ещё с белофиннами Герой Советского Союза Семён Петрович Березин и только перед его выправкой, волей: «Без глупостей, майор Танкаев! Будь на высоте. Верю в тебя, как в сына», – Магомед с лёгким звяком вогнал наполовину оголённый кинжал обратно в узорные ножны. Но дерзкую выходку барону при этом не спустил. Будто невзначай коснулся рукой козырька фуражки – и тут же снайперская пуля, но уже с другой стороны, срезала наполовину сигарету в узких губах штандартенфюрера. Ошеломлённый русским «ответом», фон Дитц шарахнулся вокруг стола. Однако, быстро взял себя в руки и, овладев голосом, со злым восхищением посмотрел на обкусанный снайперской пулей обрубок, будто сказал: «Н-да, красные не дремлют».

– Ты что, всегда такой пугливый, фриц? – насмешливо рыкнул Танкаев, резко встал из-за стола и, поводя плечами, не глядя на барона пошёл прочь. Тихо посвистывал, давая знать своим, что свидание окончено. Он не оглянулся ни разу, не видел замершего у стола эсэсовца буравившего его ледяным ненавидящим взглядом, не слышал брошенных в спину слов:

– До встречи в аду, упрямый дикарь. Вам всем конец, красные обезьяны с гранатами.

Глава 2

Пулемётный расчёт старшего сержанта Нурмухамедова уже как четверть часа заступил вместе с другими на позиции. Буренков, Черёмушкин, ефрейтор Куц родом из Белой Церкви, и он сам привычно расположились в траншее соответственно своим местам. Бой грохотал на левом и правом флангах; снаряды и мины немцев методично выбивали засевших стрелков в развалинах домов, но здесь, на танкаевском рубеже до времени было тихо.

...Все трое жадно следили за неугомонным Суфьянычем с двухколёсным ветераном «максимом». Под его умелыми жилистыми руками пулемёт споро распался на части. Он вновь борзо собирал его чёткими, намертво заученными движениями, по-привычке в сотый раз объяснял устройство и назначение отдельных частей. Ревностно учил способам обращения, показывал правила наводки, прицела, объяснял меры деривации по траектории, предельную досягаемость в полёте пули. Повторял, как грамотно должно располагаться во время боя, чтобы не подвергаться поражению под обстрелом противника; сам ложился на рогожу под пулемётный щиток с облупившейся защитной краской, говорил о преимущественном выборе места, о расположении ящиков с лентами.

Все, с кем проводил инструктаж старший сержант, усваивали сборку пулемёта легко, и уже через день два, шёлкали эту «науку», как семечки. Иначе обстояло дело с земляком Суфьяныча, – Петром Буренковым из Меседы. У того всё не клеилось, хоть лопни! Сколько ни показывал ему Нурмухамедов правила разборки, – никак не мог взять в толк, что зачем, путал, терялся, пыхтел, как самовар, и нервно говорил:

– Вот ить, зараза! Опять не получатца! Ах, что я... кругом виноват... надо вот этого туда или сюда? Ох, беда... Опять не выходит, Суфьяныч! – теряя терпение, визгливо по-пороссячи вскрикивал он, смахивая рукавом пот с малинового от напряжения лица. – Да провались ты, застрелись! Ну, почему, ты зараза такая настырная?

– Сам ты «зараза», Григорич! – вспыхивал раздражением сержант и костерил Буренкова матом: – Ах, дедас, ты дедас, херувим перезрелый! И на кой келдыш... я дурак, определил тебя к себе? Ну, гляди, зёма, не усвоишь технику, не обессудь. Чо ж я, последний аспид, что ли? Отдам тебя в хозроту, говно за свиньями выгребать и вперёд, с песнями! Помои в бочках таскать тебе, похоже, Григорич, сподручней, ась? Это ж совсем другой коленкор. А то... дело полезное, добровольное и мне сподручное. Ты у нас ещё мерин молодой, хоть куда. Вот и побегай со свиньями на перегонки.

– Ну почему не получатца-то?! – в сердцах хлопал себя по толстым ляжкам Буренков. – Пошто сразу «мерин»? – Обиды Буренкова, как тараканы по полке, бегали по душе.

– По кочану! – передразнивал его скуластый, с рысьими татарскими глазами Марат. – Потому бестолковый ты, дубина. Во как надо! – снова показывал он, уверенно вкладывая очередную часть в принадлежащее ей место. – Я вон с детства анетес имел к военному делу, – под сдержанные смешки Черёмы и Куца, тыкал пальцем в свои бледные рытвины и царапины на лице сержант. – Пушку из железной трубы мастрячил на берегу Юрузани. Ага! Разорвало её суку, трубу-то карбидом, – пришлось пострадать. Зато теперича способности проявляю.

– Да... ладно? – недоверчиво протянул Буренков.

– Контру прикрой! Тепло не трать! – вытирая о ветошь жирные от смазки пальцы, цыкнул Суфьяныч. – Не май месяц...

– Опять не так! Не засоватца холера! Зачем... не знаю!

– Ишак ты, ишак! На весь батальон Танкаева один ты такой! – чертыхался Нурмухамедов. – Погубишь ведь, вражина, матёрым болванством своим...

– На редкость бестолков, – тихо соглашался сдержанный Черёмушкин.

– Оцет оби нэ сало хавать! – фыркнул Санько Куц, и все беззлобно посмеивались.

Один Буренков, крепче наливаясь жаром, раздражённо канючил:

– Эх, вы однополчане... Надо товарищу показывать, а не зубы скалить... смеётесь, окаяхи, а дело стоит! Товарищ старший сержант, уйми своих колотушников или гони их к чертям! Не ровён час фрицы попрут, а им – смешки! – по бабы высоко верещал он, размахивая пухлыми, сдобными кулаками.

– Верно понимаешь фронтовую обстановку, Буренков. Хвалю! Сознательный боец, – хватко поддерживал его Марат. «По-ка-зы-вать» им сволочам надо! Ты у нас славный воин, вот и покажи... У тебя ещё всё спереди.

– Аха-ха-аа! Усё спереди!..

– Охо-хо-о!! – брызгая слюной и слезами, потешались пулемётчики.

– Злой ты татарин Суфьяныч, даром чо земляки. Одне у тебя жабы, а не слова: «сволочь», «подлец», «в расход», «провокация», «контра», «к стенке»...

– Эй, эй, погодь тарыхтеть, Григоричь! Калмык да татарин от веку первые люди в стпи... Ты, дядька, не шути так... Слышал поди ж то: «Добро должно быть с кулаками»? Вижу не слышал. Оно понятно: два класса образования и коидор... Где уж тут! А ещё «дегтарь» ему подай герою. Эта штука, брат, – старший сержант кивнул, на стоявший в бойнице на откидных стальных «сошках» ДП, – посложней «максимки» будет. В евоном диске 47 смертей, как с куста... и скорострельность будь-будь – 550 выстрелов в минуту, а ты мычишь, Григорич... Вот ты, пузан, всё на мои лычки косишься, покою оне тебе не дают. Что ж, понимаю. Начальству ты и на гражданке в рот смотрел... Но с каких пеньков, ты в командиры метишь? Коли из тебя солдат, как из дерьма пуля?

– У-ха-ха-а!!

Буренков совсем стал, как спелая ягода, поджал губы, накопел обидой. Отшатнулся от ненавистного пулемёта, сгробастал привычную трёхлинейку, буркнул под нос:

– Иш-ша поглядим чья возьмёт. – Встретился с песочно-зелёными рысьими глазами Суфьяныча и безнадёжно махнул рукой, словно сказал: «Ну, доволен, пересмешник-шайтан? Завёл свою грёбанную шарманку. Что на селе был, как слепень кусучий... Что на фронте такой же едучий паут... А ещё земляк... Ежли с подначки да с крика начинать... Тады и заканчивать надо пальбой».

– Не горюй, Григорич, – Марат похлопал по стволу пулемёта. – Мы ещё повоюем с тобой! После Победы ещё потрясём чубами. Ну куда ты, Буренков? Отставить! Пригнись дура! Ты сейчас для снайпера лучший приз. Разные выкаблучивания, выкрутасы ваши – хлеб с маслом для него! Бац в чан... и ау...

И то верно! В дневных боях первые помощники смерти – снайперы. За всё время боёв в Сталинграде эта дуэль между ними была самой долгой. Снайперы с той и другой стороны находили цели с бесовской зоркостью и мстили с беспощадной свирепостью. Обиды рядового Буренкова были едва не прекращены снайпером, когда Григорич в сердцах забросил на плечо обшарпанную винтовку. Пуля тирком цвиркнула по каске, оставив жирный зигзаг, оглушила толстяка.

– Вот гад! Пасёт нас, как телков. И ответку ему любовную не пошлешь... – процедил сквозь зубы Суфьяныч, откинувшись спиной вместе с другими на сучковатый горбыль опалубки. – Чую... щёлкнет в два счёта, только башку закажи. Кирдык, братцы.

– Может, каской на палке... сбить его с толку?

– Думаешь немец... тупей тебя, Черёма? Эту наживку фриц давно высрал. Не-ет, на мякине его не проведёшь. Учёный сука.

– Перекурить бы это дело, товарищ сержант...

– Так! – рявкнул Нурмухамедов. – Кто закурит, навечно оставлю здесь. И точка, без предисловий. Сидеть на жопе ровно. Всем ясно?

– Так точно!

Переждали ещё пять минут – тишина.

– Может, переместился падла, сменил позицию? – неудержался Григорич.

– Может быть, – зыряка по сторонам, хмыкнул Марат. – А, может, выжидает... Когда ты ему, Петя, своё мурло снова покажешь. Ладнить, делать нечего, – сержант, пригибая голову, ловко поднялся. – Санько!

– Я-у!

– Давайте с Черёмой справьте покуда зевлоротого на место. – Он указал на собранный пулемёт. – Черёма, ленты не перекрути... Раз-два взяли, и с песнями...

Сам крутнулся волчком, перекрутился в сторону, укрылся за бетонным бруствером, пригнувшись чутка, подозорил в бинокль: в запотевших окружьях стекол близко показались развалины домов, скошенные, будто косою, свинцом мелкокустье с бурым лоскутьём не опавшей листвы. Временами автоматные очереди тянули над головой близкий смертельный высвист. Но снайпер хранил обет молчания.

«Хрен его знает, может... действительно поменял позицию сволочь. – Он ещё раз введливо оглядел вражеские пределы. За первым рубежом тянулись на юго-запад глубоко эшелонированные линии обороны противника. «Крепко обустроились фрицы, как у себя дома... Их тут и впрямь понабилось больше, чем в Берлине... Тьфу, пропасть! Как собак не резанных...» На закопчёном пороховом лице Марата треснула усмешка, таившая жесткое презрение. Рысьи глаза от улыбки не смягчели, неприступно сохраняли неяркий свой блеск. Ничего особенного, бросающегося в глаза в старшем сержанте не было, – всё было обычно, лишь твёрдо загнутые челюсти да глаза, в гневе ломающие встречный взгляд, выделяли Нурмухамедова из гущи остальных лиц.

– Ага, зашевелились крысёныши...– увеличительные линзы приблизили серые пятна фигур, рубленные топорные контуры тяжёлых немецких танков. Левее и ближе, у заводских корпусов «Баррикады», где стояла задрав в небо дуло подбитая советская зенитка, он разглядел два чёрных легковых автомобиля, четыре бронетранспортёра битком набитых солдатами... Тут же находилось плотное оцепление из спецбатальона карателей с овчарками... Господа офицеры стояли несколько в стороне и, наблюдая, как конвой гоняет по широкому задворью пленных иванов, курили, порою наставнически вмешивались в распоряжения фельдфебелей и унтер-офицеров.

...Глядя на вылощенных, подтянутых офицеров Вермахта и СС в нарядных мундирах, Нурмухамедов классовой ненавистью чувствовал между собой и ими непреодолимую незримую стену: там аккуратно с немецкой педантичностью пульсировала своя, по-господски нарядная, празднично-строгая, иная жизнь, без грязи и вшей, холода и голода, без страха перед заградотрядами НКГБ, частенько употреблявших зубобой и не только...

Ах, эти чёрные тонко-хромовые плащи – сапоги! Ах, эти дьявольски красивые мундиры! Эта форма – сталь с серебром плетёных погон, – от лучших дизайнеров и кройщиков «Hugo Boss». Эти тевтонские каски, железные кресты, дерзкие, щегольские изломы фуражек с крылатым орлом... выверенная строгость и стать офицерского кителя, галифе, практичный набор ремней-пряжек и безупречно подогнанных по размеру шинелей.

...глядя на это гнетущее великолепие – мундирную силу Третьего Рейха; на эти надменные холёные лица господ нового миропорядка, на их гордые выправки, по-хозяйски самоуверенные походки... Он вдруг, как ожог, ощутил дёрганную конвульсию своих губ. И такая в нём вспыхнула ненависть, бешенство до белых белым в глазах, застилавшее злое изображение чёрной пакурукой свастики, волчьего крюка на развивающихся на ветру боевых знамёнах... Ненависть к жестокому, разгромившему цветущий город врагу, что он едва удержал в себе, ударявшейся о стиснутые зубы звериный рык. Он стоял ослеплённый, и сквозь бельма просвечивал мерзкий, шевеливший чёрными лапами на ветру фашистский жупел.

– Чёртовы готы! Собачья кр-ровь! – он заскрежетал зубами. Вспомнилось отчаянье политрука: «У них великолепная воинская школа. Железная дисциплина. Чудовищная военная машина! А у нас... только количество... Привыкли с царёвых времён топтать сапогами да шапками закидывать». «Нет, капитан. В-врешь, – в рысьих прищуренных глазах горели зло-радные огоньки удовольствия. – После 41-го и мы кое-чему научились! Давайте, в гости к нам. Будет вам адюльтер с балдахином, суки!»

Ему отчётливо видно было, как из фиолетовых жерл двух улиц, впереди выехали стрекочущими колоннами мотострелки, резво разъехали по сторонам, образовав шеренгу; за ними показались первые две цепи автоматчиков в касках, с гранатами, огнемётами; за ними, между кирпичными завалами, остовами сгоревшей техники, разворачивалась в марше чёрная походная колонна эсэсовских штурмовиков.

– «Твою мать... Да сколько ж их!? – в сердцах выдохнул старший сержант. – Вот оно! Кирдык подкрался незаметно. Похоже, не они, а мы... полетим, как драные веники... А-ааай! – Где товарищ комбат? Где Танкаев?!» Будто прочитав мысли Суфьяныча, Буренков, Черёма и Куц уставились на командира расчёта.

– А батя-комбат, где?

– Абрек с нами?

– Гутарь, будь ласкив... – Куц нервно дёрнул оттопыренным ухом. – Нам без него, хлопци, нема удачи...

– Закрой контру, хохол! Паника, саботаж... За это к стенке, в расход!

– Да щё ты, сдурэл? Дывись, хлопци, сдурэл людына, як ись сдурэл...

– Да ты погодь, пого-одь, земляк! – Григорич выпучил глаза на чёрный

Пистолет в руке сержанта. – Фрицы... того гляди... попрут ломить стеною! Кабы с Танкаечем, и помирать спокойней.

– Верно, Буренков, – Марат сунул ТТ за ремень. Он их поганых собак на верёвке высушит, как портянки... Или хинкал из них сделает. Потому, как Джигит! Э, герой не спрашивает «сколько врагов»? Он спрашивает «где»? А вы то, на кой келдыш, мать вашу... Умейте слушать и слышать. Как говорит наш комбат? «Шашка война – его заступница, а не пустая блажь!»

Ведь приказ комбата никто не отменял. Есть он или нет – дело второе. Коли жив – вопреки дьяволу объявится, если так – возглавит батальон. А там, как говорят танкаевцы: «ещё поглядим, у кого кровавый гуще гуляш».

Где-то: левее, точно зверье, сшиблись разведки. Слышны были свирепые крики рукопашной. Лихо зачечкал ручной пулёмёт. Затем разом всё стихло. А чуть погодя, Григорич у бойницы своей, завизжал, как свинья под ножом:

– Тю-у! Стой! Товарищ Суфьяныч! Э-эй, кто там? – Буренков весь на взводе, припаял приклад к плечу, закусил небритую губу, пальнул на удачу. – Братцы, кажись, шлёпнул гада!

– Кто дал команду стрелять? – грозно насыпался на него Нурмухамедов. – Чего глядишь?! Чего глядишь? Я тебе, контра... Ты у меня продневалишь пять суток... Морду искровеню!..

Если б в окопе были они только двое – по-иному обошлось бы дело: старший сержант быстрый на руку, несомненно, полернул бы кулаком Григорича, но рядом были другие номера и не могли не видеть бучи. Сержант, подступая к Буренкову, оглядывался на них, хрипел, выкатывая хищные, обесмысленные гневом глаза.

– Ты, Маратка, знай меру! Ишь норовистый, взгальный какой... так и метишь кого пошибче лягнуть...

– Не насыпайся за зря... – за спиной треснули хрипачьи голоса.

– Вы, что тут, спелись, мать вашу?... Саботаж решили устроить под носом у фрицев?

– То-то и оно... не у тещи гулям... на войне...

– Что-о? Грозить?! – рука Суфьяныча сама потянулась к кобуре. – Ну, я вас шкур выведу на чистую воду. Да я вас в мокрое!..

– Вдаришь ковось – убьём! Усёк?

Нурмухамедов зло польхнул глазами, но и только, в эту минуту, хоть режь его, ответа найти не мог. Момент для расправы был упущен. Угрюмые, посеревшие, известкового цвета лица бойцов не сулили ничего доброго, и старший сержант отступил, быть может, впервые. Он пошёл к своему пулемёту, оскальзаясь по жирной грязи окопа, вмешанной сапогами стрелков, и, уже отойдя, приказал, обернувшись, взмахивая жилистым кулаком, как кувалдой:

– Согласно номерам, все по местам!

* * *

Железный Отто был в ярости, план по вербовке майора Танкаева провалился. Любимый им Ницше писал: «Если долго смотреть в провал бездны, то бездна в конце концов посмотрит на тебя». И бездна, как теперь казалось фон Дитцу, заглянула ему в глаза.

Silentium! Suu cuique.

...оставшись один на пустыре, он ещё несколько минут смотрел на охваченное огнём небо. В нём клубились и дико метались разорванные тучи и всею гигантской обгорелою массою падали на потрясённую землю и, казалось, в самых основах своих рушился мир. И оттуда, из рокочущей бездны, из огненного клубящегося хаоса, нёсся громоподобный хохот, лязг чьих-то огромных челюстей, треск человеческих костей, скрежет металла и звериные рыки дикого веселья.

Заворожённо всматриваясь в глубину сего дьявольского круговорота, он будто ждал ответа, один перед чёрным выгоревшим до тла городом, свирепо торжествующим Злом, один перед огненным грозным ликом Войны. Лик этот, как плазменная текучая лава, то и дело менялся. То каменел страшными обглоданными чертами в секунды величавой тишины, то вновь искривлялся в жутких гримассах и кричал бешеным криком, выкатывая глаза, давая лицу пугающую откровенность выражения, какая свойственная умирающим – в корчах и муках всепожирающей боли.

Иступлённо вглядываясь в эту жуткую фантазмагорию картин, среди багровых, лиловых, гнойно-йодовых дымов – испарений, он вдруг в немом ужасе отшатнулся назад, выставив для защиты напряжённые руки.

– *Bete noire!* – сорвалось с побелевших, перекошенных губ.

Разверстая бездна взирала на него мерцающим огненным оком... Приняв в курящейся тьме, очертания – Черного зверя, спохватившись хищными когтями-пальцами за края оплавленной тверди, слегка приподняв уродливую голову, – исчадие ада искоса смотрело на колыхавшийся мир, на рушившиеся стены, падающие глыбы и облака... и на него, фон Дитца, прищуренным взглядом бессмертия, в котором таилась реликтовая вековечная ненависть ко всему теплокровному...И вокруг безобразно вывернутых костяных ноздрей, вокруг чудовищного пластинчатого сомкнутого рта вился молчаливый, зарождавшийся смех. Принявшая облик зверя бездна, хранила жуткое молчание, мертво смотрела окрест и медленно высывалась из зияющей раны земли, словно из каменистого скорлупы – несказанно ужасная в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти.

– О, Боже! Пр-рочь! Наза-ад!! – осатанело кричал ошеломлённый, пронизанный ужасом Дитц, и череп его готов был треснуть, словно орех, под нестерпимым давлением фуражки, околыш которой вдруг оказался железным, как обруч пивной бадьи. – Наза-ад!! *Nutten ficken!*

...и снова дьявольская дрожь земли. И снова ржавый скрежет бездны, от ворчанний встающего на дыбы исполина. И так, в чудовищной игре безумно множилось-кроилось Зло. В коричневой крови плыли и тонули, чавкали у берегов, зловонные массы гниющих тел, дышали ужасом – и не было им предела! В диком отчаянье, на грани помешательства, хлюпая по колению в бурлящей крови...Он шарахнулся из стороны в сторону, как пьяный, хватался за обгорелые ветви деревьев, отталкивал от себя разбухшие трупы, оторванные головы...и просил Повелителя дать ответ:

– Patron! Waszu Machen?!

Изрыгавшая огонь-лаву бездна, что-то кричала ему – «сверхчеловеку», «белокурой бес-тии», но слов её было не разобрать. Краткие паузы затишья внезапно загорались ослепительным ртутным светом и раздиралась до самых ушей неподвижная маска зверя, и хохот, подобный грому, катился и сотрясал дымные развалины города. Эта какофония хаоса-смерти разрывала каменные своды сущего, швыряла раскалённые валуны, обрушивала стены, выворачивала фундамент и страшным гулом своим обнимала одиноко стоящего на пустыре Железного Отто.

...насилу он превозмог себя, с дрожью открыл ослеплённые глаза, поднял голову вверх и, задохнувшись, узрев: рушилось всё! С пыточным стоном, тяжело клонились и сближались расколотые стены, сползали своды, бесшумно лопались купола, вздувалась-трескалась земная твердь – и в самих основах своих низвергалась и превращалась в прах крепь былого мира.

И тут до его раскалённого сознания донёсся знакомый голос – холодный, словно арктический ветер, дующий сквозь его душу. Ветер сей, как тайное заклятье, властно шептал, всё те же слова: «Следуй за мной... Найди и убей его... Убей всех и напейся их кровью.»

Видение длилось, быть может, миг. Быть может, вечность...

Отто мигнул. Внезапный новый порыв ветра швырнул ему в лицо пригоршню колючего снега с землёй. Пора было действовать.

«Russisch schweine... hund... – прорычал он сам себе, пересекая пустырь и направляясь к ожидавшему его лёгкому, манёвренному броневнику SdKfz10. – Будьте вы прокляты, красные говнюки! Клянусь, когда я доберусь до вас, – вы горько пожалеете, что родились на свет... Я вас и мёртвых в петлю суну!»

Он зло пнул каблуком по ребристой крышке переднего колеса, запрыгнул на подножку бронемшины, сменил фуражку на танковый чёрный шлем, застегнул ремешок под подбородком и опустил забрало из защитных очков, словно демонический рыцарь Валгаллы, готовящийся к решающей битве.

Броневик взревел мощным мотором, рванул к капонирам, вздыбливая колёсами фонтаны слякоти; четыре мотоцикла сопровождения, обогнав их, проскочили вперёд.

Майн Готт! Оставив за спиной погружённый в тишину пустырь, с нелепым столбом и початой бутылкой шнапса, он чувствовал себя так, словно только что выпил залпом охотничий рог горячей дымящейся крови.

«Пусть рушится мир! Пусть всё катится в пасть Дьяволу!

Nicht wahr, genosse?»

Он снова ощущал себя на боевом коне. Потому что в одном был совершенно уверен. Он следовал приказу фюрера, по зову самой Смерти, которая никогда ничего не обещает зря. «Победа или смерть! Ave caesar, morituri te satutant!»

Глава 3

Признаки неизбежных новых контратак русских становились всё очевидней. Первый снег, выпавший 22 октября в Сталинграде, подстёгивал их к этому крепче, чем жгучий бич дрессировщика цирковую лошадь. Согласно данным разведки, выбитым под пытками сведениям красных офицеров, советское командование замышляло нечто грандиозное.

Они не позволяли себе отвлекаться на прямые немецкие удары. Невероятно! Но большевики каждый вечер строили что-то новое, ей Богу, как норные звери. И в этом рвении, без сомнения, превосходили своего врага. Впрочем, тому имелись объективные причины: отчасти природный талант, отчасти усердная подготовка и собственно строительство полевых инженерных сооружений под неусыпным дозором комиссаров и партработников НКВД. Но главное – роковая действительность, в которой они оказались! Отступить действительно было некуда. Впереди – огонь, за спиной – вода и тоже смерть. Поэтому работали они и впрямь, как кроты фанатично, не покладая рук. Иваны всегда успевали окопаться, прежде, чем их замечали. Следует также отметить, что русские противотанковые орудия, как правило, не ввязывались в дуэль с противником. Более того артиллерийские расчёты обычно снимались со своих мест, прежде чем немцы успевали занять хорошую позицию. Такова была в целом тактика и стратегия советских войск, накрепко взятых в оцеп 6-й армией Паулюса, зажатых у кромки левобережья Волги. Но и это не всё: несколькими днями позднее в корпус генерал-лейтенанта Хубе поступило донесение из Штаба армии о том, что перехвачена важная радиопередача. В ней говорилось о запрете на огонь фронтowymi подразделениями из противотанковых орудий, гаубиц и танков на заводских плацдармах. Отсюда было ясно, что иваны не хотели обнаруживать свои позиции. Лишь в случае массовой атаки немцев на плацдарм им было разрешено открывать огонь.

Этот приказ выявлял две вещи. С одной стороны, красные орды, конечно, побаивались тяжёлых танков Вермахта. С другой, – было понятно, что они уже расположили свою бронетехнику, перейти по всему фронту в контрнаступление. Не требовалось так же особого военного таланта, чтобы понять: русские пойдут на любой риск, чтобы не быть сброшенными в свинцовые реки.

Между тем, чертовски резкое похолодание и, выпавший снег не сулил ничего хорошего, как медведи, вероятно, легко переносили эти гримасы природы... Чего не скажешь об европейских армиях мира и, в том числе, германской.

Жизнь в траншеях, в землянках, подвалах домов и обесточенных теплотрассах – равна жизни дикого зверя шретлинга в своём грязном, вонючем логове. Это воистину великое испытание ратного духа. «Allerwertester!...sich elenballern...Ficken bumsen blasen!...»

...Жизнь в танке, в железном-бронированном гробу, неделями, месяцами кряду – вдвойне и, чёрт побери, не является чем-либо досужим, о чём можно много разглагольствовать, грея зад в уютной пивной. Как Бог свят! Довольно лишь немного фантазии, чтобы представить себе, как это дерьмово в реальности. Замкнутое, ограниченное пространство и дикий холод зимой очень скоро дают о себе знать. Здоровое, даже испытанных-закалённых воинов, подвергалось невероятным испытаниям. Танкисты Панцерваффе не желали в этом признаваться даже самим себе, однако результаты крепко проявились позднее. Влага от дыхания быстро замерзала и превращалась в «шубу» – толстый белый ледяной нарост.

Если кто-нибудь из экипажа засыпал и прислонялся головой к стенке танка, то волосы примерзали к ней. И случалось нужны были ножницы или нож, когда он просыпался по тревоге и того требовала ситуация. До определённой степени люди могли согреться, съёжившись, как младенец в утробе матери, и дрожа всем телом.

О-la-la! Пехотинцы на своих позициях едва ли завидовали танкистам. Их движения в корпусе танка были крайне ограничены, и отсутствовала возможность погреться у печки или костра. Поэтому никто не удивлялся, когда кто-то подхватывал плеврит, пневмонию или то и другое вместе – одновременное воспаление лёгких и плевры. Бывало полевой врач устанавливал на ногах или плечах, которые часто упирались в стенку танка, – белые пятна обморожения... Поэтому солдатам Вермахта часто снились не только горячие эротические сны – с задатыми и грудатыми блондинками, но и горячие сауны, в которых просто до крапивного зуда, не терпелось прогреться и до «костей» промыться, чего они не делали в Сталинградском аду так давно... Впрочем, если удавалось уснуть, то солдаты, неважно из каких они родов войск, спали крепко, точно убитые. Так могут спать только совершенно вымотанные войной люди. Фронтовикам во все времена не нужны ни кровать, ни перина, ни снотворное, чтобы крепко спать...

* * *

... Унтерштурмфюрер Юрген Ханс – командир 3-й роты ударного батальона тяжёлых танков, легко соскочил с брони «тигра». Его пятнистый «Лот» стоял рядом с одноэтажным домом перед окном, чтобы защищать от осколков. Остальные 39 машин были выведены с участка 295-й пехотной дивизии и находились здесь же, неподалёку от передовой, расставленные среди городских развалин. Связь между командирами танковых рот и взводов была постоянной. Батальон готовился к новой операции и находился в боевом ожидании своего шефа – Железного Отто.

Юрген нервничал. Фон Дитцем ему было поручено перегнать ещё шесть тяжёлых танков из ремонтной мастерской, что находилась в тылу, в девяти километрах от линии фронта. Но, связавшись по радио с мастерской, получил жесткий ответ Франка Хабеля: «Машины будут готовы только к обеду завтрашнего дня. Конец связи». «Endmadig! Prost!» – Юрген знал, барон будет в ярости, спустит на него всех собак. Но знал и другое: работу, которой занимались люди из ремроты нельзя описать, используя привычную терминологию. То, что они делали своими «золотыми» руками охарактеризовать можно в условиях фронта, как нечто, находящееся за пределами человеческих возможностей. Видит Бог! Эту самоотверженную работу за линией фронта нельзя было организовать одними приказами. Наоборот, она предполагала внутреннюю стоическую убеждённость и стремление помочь войскам на фронте всеми доступными способами.

Обер-фельдфебеля Хабеля, командира ремонтной роты, никак нельзя было называть человеком, с которым легко поладить. Его положительные стороны были надёжно скрыты за очень грубой наружностью. Он часто так донимал своим ворчанием, что его подчинённые старались поскорее переодеться в рабочую форму.

На грани он общался и со своим начальством, но решительно все могли себе представить, что произошло бы, если бы его подчинённые позволили то же самое проделать в отношении его.

Франк Хабель, первоклассный профессионал, использовал все свои способности, чтобы привести в порядок повреждённую машину. Он был также надёжным товарищем, который никогда не оставлял своих людей в беде. Положение дел в его роте было гораздо более благополучным, чем во всех других.

Люди из его роты во время боевых действий работали днём и ночью в три смены и, конечно, не уступали в стойкости солдатам на передовой. Если Хабель обещал отремонтировать машину к определённому времени, на него можно было железно рассчитывать. Люди именно такого склада, как воздух, нужны на фронте. И, право, разве имело большое значение, что кто-то брутalen-угрюм от природы? Люди сладкоречивые и любезные не годятся там, где нужно показать, чёрт возьми, на что ты способен.

– Не беда. Машинное масло, бензин, как и кровь врагов Рейха... Это хорошая грязь, Вим. Я бы сказал благородная, которой не стоит стыдиться. – Ханс браво откинул светлую чёлку, щёлкнул зажигалкой и, затянувшись дымом, негодующее сплюнул:

Дьявол! Что за табак?

– Французский, унтерштурмфюрер.

– Дерьмо ты куришь, приятель. Свины и те отвернули бы рыла от этих опилок. Ну да ладно, другого нет. М-да...Германия воюет уже четвёртый год. Я начал тянуть армейскую лямку с сентября 39-го, когда наши войска вторглись в Польшу. И за всё это время, Вим, веришь? Всего лишь пару раз посетил родной Фатерланд! Я уже забыл запах женщины, Ренер. Её подмышек, что у неё между ног...Ох, уж эта Россия...Не-ет! Это не страна...Это часть света. Мы забрались к чёрту на рога, а ей всё нет ни конца, ни края. Что-о? Вот именно, друг, и кому принадлежал все эти сказочные просторы? Богатства недр, что скрыты в земле? Лешим в ватниках, да пейсатым картавым обезьянам с красными партбилетами! Аха-ха! Дай срок, после Сталинграда...Мы устроим большевикам кровавую бойню. Москва услышит «шорох орехов». Но сейчас не об этом...– Юрген жадно только думают эти ослы из тыловой службы обеспечения? Scheibe! Арийская сперма булькает в ушах наших солдат. Сколько можно травить нас этим поганым бромом? Видит Бог! Ещё неделю в этом аду и я, – офицер СС, окажусь в одной постели с жидовкой...

– ? – Ренер едва не поперхнулся, с опаской и недоверием посмотрел на своего командира.

– Шучу, конечно. Их скоро в этих краях не будет, как и цыган. Что ты тарачишься на меня, Вим, как индюк на зерно? Да потому что мы всех их ликвидируем. Нет евреев, цыган, славян – нет проблем, не так ли, дружище? Эй, не сбивай меня с курса! Varenkiller... – мечтательно, словно его окатила тёплая приливная волна, протянул Ханс и скрежетнул зубами. – Уж я бы вставил крупнокалиберный патрон в затвор этой сучке! Уж я бы выписал блуднице свою фирменную восьмёрку на её греховном холме Венеры...У меня бы эта бритая пилотка задрожала в судороге чистейшего наслаждения, будь покоен.

– О, да-а...– молодой механик тихо засмеялся. – Я бы тоже не прочь унтерштурмфюрер, погасить свой фитиль желания...в глубине их знойного пекла.

– О-о! Да ты у меня поэт, Вим! Браво! Я и не знал...как ты это здорово: «в глубине их жгучего пекла». Прямо Шиллер! Вот, что значит арийская кровь! Ну, ну, смелее, сынок, что-то ещё?

– Так точно, мой командир. – Ренер нервно теребил чёрными пальцами штанину засаленного комбинезона. – Вот только парни из разведгруппы штурмбанфюрера Готфрида Малиха...

– Ну, ну, договаривай! – Юрген затушил окурочок о танковую броню.

– Короче от местных баб несёт не то псиной...

– Не то тухлой селёдкой, водкой и чесноком, как от их мужиков и свиней, так?

– Так точно, унтерштурмфюрер, – просиял смущённый Ренер.

– И ты, желторотый, поверил? Дура-ак, – Ханс по-свойски потрепал его по плечу. – Враньё. Это, что им – дьяволам...больше досталось. Брось, не горюй. Знаю, вести точные, через штаб...скоро нам доставят в Сталинград чешских-венгерских шлюх.

– Иё-хо-хо-о! – Ренер звонко хлопнул себя по ляжкам. – Вот это новость, золотые слова! Жить, воевать хочется! Знал я одну чешку из пражского кордебалета...Выше других задирала ноги...

– И шире, дружище! Я угадал? Аха-ха-хаа!..На этом алис. – Ханс посуровел лицом. – Довольно, теперь о деле, проверил?

– Так точно.

– Двигатель перебрал? И как?

– Как в аптеке, мой командир. Разве не слышите, как урчит наш зверь?

– Ох, Вим... – Юрген осуждающе покачал головой. – И когда ты перестанешь хвалить себя, парень?

– У меня правило, унтерштурмфюрер. Себя похвалю, вы поругаете, вот и баланс получается.

– Ну ты и пройда, Вим. Хоть юзом, хоть на пузе, а провернёшь своё. Так, что у нас на часах? Дьявол, так и знал! – Он сердито зыркнул в сторону пехоты. По площади сновали офицеры; развевая полами шинелей, прошли военврач и два фельдшера. По периметру плаца выстроились плотные шеренги автоматчиков.

Ханс потемнел лицом, кривя непослушные губы, хрипло сказал:

– Scheibe! С обедом опять... полная хрень! Опять не по расписанию! Вот так, мы позорим и развинчиваем по болтику-гайке наш немецкий порядок. Это ж азбука войны, Вим: солдат лучше воюет и готов умереть за своих вождей, когда он обут, сыт и согрет! А мы всё ждём и слушаем на голодный желудок эти трескучие тирады залётных паркетных крыс! Оно понятно: надо же что-то рапортовать в Берлине о Сталинграде! Красиво не приврать, историю не рассказать.

Юрген Ханс не стесняясь в выборе слов, (благо рычал танковый двигатель) обложил руганью важного представителя аппарата главного гауляйтера Германии Иозефа Геббельса. Прилетевший со своей ретивой пропагандистской сворот, генерал Ханньо Хассе – бритвоглазый, кровожадный палач от идеологии, по прозвищу Ядовитая Змея, был красноречив и придиричив к боевым офицерам; высоколобый и респектабельный, чинный в движениях, он при этом в мгновение ока преображался, как учуявший дичь охотничий пёс. Делал стойку, показывал хищный оскал и «готов был рыть, любой глубины и сложности сурчиные норы», вразумлять и карать «оступившихся»... Словом полностью состоял из деталей и шестерёнок Третьего Рейха, с мозгами проштампованными в Рейхсканцелярии, а соответственно был обречён отстаивать нацистские ценности, свастика-факельную мечту о новом Мировом порядке Тысячелетнего Рейха.

Унтерштурмфюрера СС Юргена Ханса он отчитал, как мальчишку. Взрыв негодования у столичного генерала вызывало банальное отсутствие у того чёрного форменного галстука.

– Тысяча залпов чертей! Почему вы, боевой офицер СС!..и без галстука? Молчать! Неудивительно, что мне постоянно приходится кого-то отчитывать, если такие, как вы... подаёте плохой пример. Молча-ать! Две тысячи залпов чертей! Откуда, я вас спрашиваю, возьмётся уважение к нам армии-победителей... Если мы позволяем себе, чёрт побери, так выглядеть! Это позор, упадничество унтерштурмфюрер! И я буду категоричен в разговоре с вашим начальством!

Правды ради, следует заметить: Юрген Ханс действительно носил лишь чёрные кашне. Это устраивало фон Дитца, но взбесило генерала Ханньо Хассе. Его речь клокотала гневом, однако Юрген, человек неробкого десятка, никогда не имел в батальоне ампула смиренного труса. Он был храбрый, решительный боевой командир танковой роты, не раз смотревший смерти в глаза. И потому дал твёрдый ответ:

– Если уважение ко мне подчинённых, гер генерал, целиком зависит от того, есть ли на мне в бою галстук, то значит, со мной что-то неладно. Либо я идиот, либо...

– Молча-а-ать! – налившись дурной кровью, топай ногой Хассе. – Три тысячи залпов чертей! Я буду разговаривать с тобой мерзавец... Тебе бы, прежде чем открывать клюв, стоило знать, о моём личном знакомстве с шефом РСХА обергруппенфюрером СС Гейдрихом. Прочь с моих глаз!..

– Вон он, змей! В окружении своих гадюк... Продувает уши нашей мундирной силе. – Ханс повернулся в сторону плаца. Там, среди развалин и обгоревших строений, теперь стояло строгое каре их трёх батальонов 305-й пехотной дивизии, в центре которого, на массивной

башне танка PzVI Ausf. E, как на утёсе, стоял генерал Ханньо Хассе с воинственно поднятой рукой. Его речь была надсадной и рваной, как цепной лай сторожевого пса.

– Ренер! Глуши мотор! Ни черта не слышно!

– Яволь, унтерштумфюрер.

Механик живо исполнил приказ. Привычно вскочил на борт танка, опёрся плечом на длинный башенный ствол.

* * *

– Товарищ Суфьяныч! Оно! Опять ползёт сюда кто-то т не один!

– Не ори! Мордует тебя шайтан!

Возбуждённо блестя глазами, все разом ринулись к брустверу, пальцы легли на спусковые крючки и гашетки.

...Марат почуял, как сорвавшись, резко, с перебоем бухнуло по рёбрам сердце... В нём вдруг полынным кустом выросло смутное, равносильное страху беспокойство. Но он привычно срубил его под корень, хватая глазами развалины, пустыри, перекрёстки, боднул вопросом Григорича:

– Ну, где-е? Кто-о ползёт, ботало! Ты меня и за столом, и в окопе срамишь, перед боевыми товарищами. Видано ли дело: предпочитать водке-пиво, а пиву-воду? Э-эх, нет в тебе куража, Петя. Живёшь, как жук в навозной куче. А ты, Черёма, вишь чо?

– Никак нет, товарищ старший сержант! – встревоженно вертя головой, откликнулся тот. – Похоже, немцы дымовую завесу устроили, чтоб ни наши снайпера... Ни артиллерия, значит, не накрыла их...

– Ты дуру то не трепи! Эт козе понятно, Черёмушкин. А ты, Санько, видишь? – беспокойно переспросил он.

– Ни ма... тильки дымовина, товарищ старший сержант. Чую непорядок трошки... Трэбэ начальству добалакать, як?

– Твою мать!.. – процедил сквозь зубы Марат, давясь напряжением буркнул под нос. – Хороший ты мужик, Куц. Пряма, как пирог с дерьмом. Худая у тебя начинка, тильки сало жрать – джигит. – И уже в голос съязвил в адрес немцев. – Устроили крысёныши себе занавес с буфетом. У них, буржуйских сук сейчас завтрак, по расписанию. Конфетки-печеньки с какавом кушать изволят...

Ё-моё... дыму и впрямь-вешайся! Ну, эт тоже не худо, земляк. Стал быть и немчура наших не видит. Так нет?

– Так точно. С дымом-то слобонее. Это значит одно, – Нурмухамедов посуровел взглядом, – глядеть в оба!

Он не успел договорить, как вздрогнул будто пришпоренный: из косматых, слоистых дымов, совсем рядом показалась сразу дюжина касок! Закопчённые перекошенные лица, влажные оскалы зубов!

– Не стреляй, свои! Не видишь... в рот те в душу!

Первый махнул белым лоскутом над каской, узрев направленный на него чёрный глаз пулемёта.

– Свои, братцы! – гаркнули слева.

– Отставить огонь! – запоздало приказал Нурмухамедов.

В следующий момент в траншею грязными рычащими комьями стали срываться бойцы с автоматами, снайперскими винтовками, – группа прикрытия командира Магомед Танкаева.

– Наши! Наши, товарищ старший сержант! – радостно открылся длинношей Черёма, с щемящим восторгом разглядывая одетых в защитные маскхалаты бойцов, их суровые простые мужичьи лица, воинственный вид. – вы разведчики?

– Профурсетчики, – насмешливо-зло передразнил Черёмушкина враждебного вида скуластый сержант, в чёрных пальцах которого был виден скомканный белый лоскут. – Мы – то разведчики, а вы что за фрукты?

– Ваши позывные? – Буренков встал рядом с Суфьянычем.

– Пароль! 0 Нурмухамедов держал палец на спусковом крючке «дегтяря».

– «Ворон»! Да убери от греха свою дуру, сержант! – скуластый, шевеля ноздрями носа раздавленного прикладом в рукопашном бою, с угрозой выступил вперёд.

– А вот теперь мы узнаём ваш чёртов пароль!

– Ах, сучар-ры!

– Б...и, пригрели жопы тут!

– В своих стрелять?! Шкуры...

Послышались хряские удары. В ход пошли кулаки и приклады.

– Отставить свару! – Рядом с Маратом в траншею прыгнул волком комбат. Он крепче других бросался в глаза дюжим складом плеч и кавказским энергичным лицом.

– Расчет смир-рно! – слизывая с разбитого рта кровь, замер старший сержант.

– Вольно. – Майор задержал на нём взгляд. Татарские, раскосые, похожие на рысьи глаза красноармейца оживились, и весь он как-то незаметно, но ловко подобрался.

– Ай-е! Это ты, джигит?

– Так точно. Первая рота, второй пулемётный взвод, старший сержант Нурмухамедов, товарищ комбат.

– Коммунист?

– Так точно.

– Товарищ комбат! – драчливо топыря верхнюю губу, жарко встрял в разговор вспыльчивый осетин Абазов. – Это аны собаки...стреляли по нам!

– По своим стреляли! – взорвались голоса автоматчиков.

– Кто «собаки»? – взвился ястребом Суфьяныч.

– Отставить! В голосе командира звякнула сталь. – Кто стрелял? – Танкаев похолодел глазами, но оглядел расчёт с нескрываемым удовольствием. – Ну, а это кто сдѣлал? – он снял с себя офицерскую фуражку и насадил её на палец.

За спиной командира присвистнули. Ну и дела-а! Из защитного цвета тульи, рядом с красной звёздочкой – торчал медный палец Танкаева.

– Вах! Ещё нэмножко, на палэц ниже...Э-э, много нэ надо...и ау, товарищ комбат, – снова встрял неугомонный Абазов. – Эй ты-ы! – он прожѣг горячечным взглядом Нурмухамедова. – Ещё чут-чут и ты бы, вражина...убыл нашего комбата!

– Пуля винтовочная, – не обращая внимания на клокочущий клѣкот Абазова, констатировал Магомед Танкаевич. – Твоя работа? – он перевёл взгляд на Бурѣнкова, одубело державшего в руках моsinовку.

– Стрелял...– ни жив, ни мѣртв кисло нахмурился Григорич, со страхом уловив строгий взгляд, стоявшего против него командира.

– Гляди каков! Стрѣлял, а? – хмуро усмехнулся Танкаев. – Ты что же, надумал, что возьмут тебя? А еслы за это сейчас...я прикажу тебя расстрѣлят?

– Думал, враг ползѣт...– разбитые губы поѣжились, их моросила мелкая ознобная дрожь. Оттуда тоже снайпер...по нам долбал, това...

– Знаю, – веско перебил комбат. – Убит тот снайпер. Вот погоны того гада. – Танкаев показал, словно волчьи уши, срезанные кинжалом унтер-офицерские погоны.

– А дым? – не удержался Суфьяныч. – Он же фрицевский, нет?

– «Дым» – тоже мы. Я дал приказ зажечь трофейные дымовые шашки. Иначе каюк...Нэ доползли бы до вас. А тепер скажи, солдат. Только чисто, чѣстно и ясно скажи.

Зачем признался? Стоял бы на своём – «не знаю». – Уже совсем иным тоном спросил майор, скользя повеселевшими глазами по остальным, будто смеялся: «Ну, сукины сыны – пулемётчики, наворотили дел... И не морщатся!»

– Я признался не от лихости, – ожил Григорич. – Почто буду таиться? Командира своего, робят подставлять? Совесть ещё имем. Раз стрелял, значит, признайся... Что касаемо... казните, коль оплошал. Я от вас... – он опять виновато поёжил разбитые губы, – добра не жду, на то вы и начальство.

«Ну, ты Григорич, молоток. Не ожидал зёма! – Нурмухамедов с благодарностью посмотрел на толстого, неуклюжего Бурёнкова.

...Кругом одобрительно заулыбались. Комбат Танкаев покорённый рассудительным, беззлобным голосом солдата, отошёл. Затем, вернулся:

– Значит от начальства «добра» нэ ждёш-ш, рядовой Бурёнков?

– Никак нет.

– Зря, рядовой Бурёнков. Ответ неверный. Вы бойцы Красной Армии. Начальство нэ боятца, уважат надо. А ну, сними каску.

– ?– Григорич послушно снял. И комбат неожиданно для всех водрузил на него свою выдавшую виды прострелянную фуражку. – Дарю! Носи на память. Пуля, как и снаряд, два раза в одно место не ложитца. Пусть эта фронтальная фуражка будэт тебе обэрегом-гъайкар, как у нас в горах говорят. Только в следующий раз, когда будэш стрэлят, бэри ниже на два пальца. Молодэц рядовой Бурёнков! Бдительный воин. – Комбат сверкнул глазами из-под чёрной аркады бровей. – Да, молодэц! Потому что мы на войне, а нэ на охоте. Абазов!

– Я!

– Сбегаеш к замкому по хозчасти капитану Радченко. Подберёш мне новую фуражку.

– Ест, товарищ комбат.

– Дзотов, Чайкин! – Танкаев обратился к сержантам. – Вывести бойцов на позиции, согласно своим мэстам. Снайпэрам занять свои «гнёзда». Быть готовым к атаке.

– Так точно!

Он пошёл пригибаясь по гудевшей на разные голоса траншее, делая чёткие замечания, давая ценные советы стрелкам, бронебойныйщикам, миномётчикам, принимал быстрые доклады младших командиров, когда внезапно столкнулся с нею.

– Вэра-а!

– Ты-ы! – совсем рядом он услышал её горячий сердечный выдох. – Живой, вернулся... Миша... – Она стояла в шаге от него. Из-под мокрого капюшона плащ-палатки блестела на Магомеда влажной несмелой улыбкой, смеющимися-беспокойными фиалковыми глазами.

Глава 4

– ...Солдаты-ы! – голос генерала Хассе набирал мощь. Слова эхом отозвались от облупленных стен строений.

Юрген Ханс и Вим Ренер повернули головы. Оратор из Берлина, подражая фюреру, приблизил руки к груди-подбородку, словно играл на невидимой скрипке. Скрюченные в чёрных кожаных перчатках пальцы, казалось, держали незримый инструмент с ловкостью и осторожностью виртуоза. Узкие бойницы глаз чуть светились, обманчиво, как уголья потухающего костра. Долгая пауза торжественного молчания завершилась новым взрывом речи, заставившим железные шеренги солдат окаменеть.

– Я спрашиваю вас, бесстрашных сынов Фатерлянда, какие слова отлиты у вас на пряжках? Не слышу!

– «Бог с нами!» – рокочущим морским прибором прокатилось над рядами тевтонских касок.

– Верно! Эти слова есть на всех ваших пряжках. «Бог с нами!» Это так же верно, как и то, что Бог – это наш вождь Адольф Гитлер. Гитлер – это Германия! Германия здесь с нами, в этом месте. Это должен помнить и знать каждый из вас! Нет ничего более священного для немца, чем защита истинно христианских ценностей осквернённых и попранных нечестивыми большевиками. И эта благородная миссия, этот новый крестовый поход на Восток, отличает вас, солдат Третьего Рейха, от этих безбожных дикарей, недочеловеков! У них нет Бога! Молчанием и бездействием, хулой и вероломством, еврейской хитростью в России тысячу раз был предан и убит наш Спаситель!

Но у вас – Он есть – в душах, в ваших рыцарских, христианских сердцах! Бог с нами, даже здесь на проклятой территории врага. Но мы не будем бездействовать и молчать. Мы посланы сюда по воле фюрера, чтобы спасти, а не предать нашего Небесного Отца. Мы прибыли сюда: отомстить и покарать неразумных безбожников, чтобы раз и навсегда стереть с лица земли этот славянский навоз, этот смердящий на всю Европу пресловутый «русский мир».

Генерал, возвышавшийся над боевыми знамёнами, в полный рост, стоявший на башне «тигра», продолжал делать энергичные жесты руками, вскидывая вверх чёрный кулак, и ветер разносил над плотными, стройными шеренгами автоматчиков его яростные надрывные призывы. Это был геббельсовский трибун и его прибытие в Сталинград, в канун решительного октябрьского наступления 6-й армии, чем-то напоминало явление народу пророка, древний библейский въезд в город, только вместо священного осла под ним был прокопчённый, в цветных пятнах и разводах маскировочного камуфляжа танк. Каре ревело восторженно. В воздух летели пилотки-фуражки. На обгорелых деревьях, на уцелевших этажах домов, в оконных проёмах всюду виднелись солдаты. Всё было пёстро и волнительно от красно-бело-чёрных знамен и нацистских полотнищ с жирными свастиками и воинственными орлами.

И если унтерштумфюрер Юрген Ханс, натирая в ладони оторванную пуговицу пестовал душе ненависть и сарказм к оскорбившему его генералу... То желторотый механик Ренер напротив, испытывал какой-то гипнотический всеобщий душевный подъём. В явлении «трибуна» было что-то чудовищное и великолепное. Жуткая и привлекательная смесь библейского и сиюминутного. Эклектика и красота, соединённые нацистской всеразрушающей, заразной энергией. «Трибун», как поводырь и вождь племени, возвещавший своему народу божественное откровение, ведущий свой избранный народ через моря и пустыни в обетованные пределы – всё восхищало водителя-механика Ренера. Ему нравился и сам деятельный, поджарый генерал Ханню Хассе и крепкие парни, окружавшие его с оружием и знамёнами. Особо один из них, стоявший с права, с нацистским реющим на ветру стягом. Его крепкий

бритый затылок блестел из-под пилотки на солнце, а белая рука, сжимавшая древко, рельефно перевивалась мускулами.

– ... Знайте! Командование Германии всё больше стягивает сил к Сталинграду. Мы удваиваем вылеты наших транспортных самолётов с боеприпасами, провиантом еженедельно! Герман Геринг – второй человек в Империи Третьего Рейха, отец Люфтваффе, ежедневно держит руку на пульсе, следит за этим воздушным мостом и рапортует о сём нашему благословенному фюреру!

Знайте! Адольф Гитлер в Берлине делает всё, чтобы ваши доблестные дивизии ни в чём не нуждались, наконец, опрокинули на лопатки врага и сломали о железное колено хребет Советам!

Помните! Каждого из вас ждут награды и плодородные земли на Волге, в Крыму и в богатых предгорьях Кавказа! Видит Бог! Романтичные времена заокеанских колоний миновали... Господин мира должен иметь колонии не за « семью морями », а у себя под боком, на этом же континенте. Наш фюрер в качестве колонии облюбовал для нации Восточное пространство до Уральских гор включительно! « Туземцы » – эти дикари славяне: русские, украинцы, белорусы, а так же все народы Кавказа, Крыма и Средней Азии, должны быть истреблены... и лишь лучшая здоровая-молодая часть стать « илотами », то есть рабами. Вашими рабами, сыны Третьего Рейха! Их рождаемость будет строго регламентирована; заболевших будут сразу уничтожать, детей рабов учить лишь азбуке немецкого языка, элементарным правилам сложения-вычитания, а так же правилам уличного движения, чтобы эти двуногие обезьяны – эффлинги, шретлинги, не бросались под колёса наших автомобилей. Все народы Советского Союза будут обращены в безгласных, исполнительных рабов, которыми будут управлять немцы-надсмотрщики, голубоглазые арийцы из элитных рядов СС. Не падайте духом! Генеральная программа фюрера, переведённая на военный язык – « План Барбаросса » и на язык оккупационной политики – « План Ост » – решительно никуда не делась!

А посему, – плотные зубы генерала Хассе хищно блеснули. – Нужно собраться с силами и утопить сталинские орды в Волге до последнего большевика! А уж потом, – генерал медленно смял незримую скрипку и чёрные пальцы его, как когти, щёлкнули друг о друга. – Рабы, сотни тысяч, миллионы послушных рабов безмерно приумножат немецкий достаток и процветание ваших семейств!

Да, путь к Величию Рейха – тернист и сложен. *Per aspera ad astra*. Да, Мировое господство просто так не даётся. За всё надо платить. Германию ждут новые испытания, трудности. Кровь и новые жертвы... Но эти жертвы не напрасно будут брошены на алтарь войны. Именно жертвы и кровь – цементируют нацию! Варвары, живущие на этих обширных землях жестоки и кровожадны... Но это значит для тевтонского меча лишь одно: он будет ещё более неутомим и беспощаден к врагам Рейха. Как Бог свят! Мы устроим упрямым большевикам кровавую оргию! Заставим их пожирать самих себя, как в проклятом Ленинграде. Мы устроим пир на костях, каких не видело ещё Человечество со времён сотворения мира! Пусть русские насыщаются мясом своих же людей... И пусть этих жертв будет столько, сколько они сумеют поймают и сожрать... до своей собственной гибели!

Узкие, бритвоглазые бойницы Ханньо Хассе расширились, и теперь сверкали, как горны! И мало кто отваживался из офицеров и солдат смотреть в эти глаза, опасаясь. Что сам превратиться в пепел...

Генерал, впавший в раж, брызгал слюной, продолжал ожесточённо скрещивать на груди и выбрасывать вперёд руки:

– Солдат и его оружие должно быть одним целым, как жених и невеста! Теперь у вас есть невеста! – он совсем, как Гитлер, характерно топнул ногой по 110-мм лобовой броне практически неуязвимого монстра, проектом которого с первых дней особо интересовался сам фюрер. –

Так я спрашиваю вас, негнибаемых сынов Фатерлянда, что вам ещё нужно, чтобы завоевать этот чёртов город?!

- Ничего, гер гегнерал!
 - Не слышу-у!!
 - Ничего, гер генера-ал!!!
 - Зиг!
 - Хайль!
 - Зи-иг!!
 - Ха-айль!!
 - Зи-и-иг!!!
 - Ха-а-айль!!!
- * * *

– Вэрушка! Ты как здесь?

– Я с тобой в горе и радости! – она с визгом кинулась к нему, забила на груди. Стиснув ладонями нежные прохладные щёки, Магомед приподнял её голову, поцеловал тирком, не выпуская из рук.

На передовой, пробиваясь сквозь сплошную завесу различных запахов, будь то перепанное воронками бомб и снарядов поле, обгорелый лес или улица, мёртвые пустоглазые дома, которые приходилось защищать либо брать штурмом, он всегда впитывал запахи, дрожал ноздрями, как дикий зверь. В их подвале, где прежде хоронилась от бомбёжек чья-то семья, а теперь укрывались они: валил с ног чад сгоревшей солярки, дух потных, давно немытых тел и грязных одежд, могильная вонь слежалых ватных матрасов, разило кожей мокрых сапог и спалённой солдатской махры.

...тем сильнее, пыльче он уловил нежный запах её русых волос, розовых ладоней пропитанных талым снегом, волглым сукном и чем-то ещё волнующим, домашним, никак не связанным с прогорклым и вязким духом войны.

Глядя в дрожащую плазму любимых глаз, тихо спросил:

– Чего ты? Зачём опять слёзы?

– Убьют вот тебя! – она крепче прильнула к нему.

– Э-э, нэ надо так убиватца родная...Замолчи, жэнщина. Не сознательная ты у меня. Разве нэ знаеш-ш, слёзы есть проявление буржуазной мягкотелости? Мы на войне душа моя, а не в доме отдыха, да?

– Что буду делать...если тебя убьют? Одним тобой и дышу, Миша. Божь.

– Зачем убьют? Кто? – он насмешливо усмехнулся. Помнишь, суворовское: « Смэлого пуля боитца, храброго штык нэ берёт»? У нас в горах говорят: «Герой умирает однажды, трус-тысячу раз».

– А вдруг, Миша!... сколько вокруг смертей...

– Советская власть поможет. Жить будэшь! Светлое будущее строить будэш. Что б всем хорошо было.

При этих словах она вдруг вздрогнула, словно взялась за горячее. Словно услышала за спиной чей-то злобный голос: «Срамота! Нашли где целоваться! Ах вы...аморальньники...Куковала кукушка, соловью о лете!...А ну, брысь отседа, пакостники! Приспичило вам!»

...Вера вывернулась из-под его руки, испуганно вскрикнула, округлив глаза:

– Ой, мамочка...Товарищ комбат!

– Что ещё?

– Дура я дура! Забыла зачем бежала! Быстрей, – она дёрнула его за рукав. – Товарищ комдив на связи! Велел вас отыскать, срочно!

* * *

Бронированный внедорожник фон Дитца содрогнулся, заскрежетав тормозами. Лобовое стекло было почти полностью захлестано слоем жидкой грязи. Каждый раз, вздыхая, Отто ощущал во рту вкус перегорелой окалины, которая хрустела на зубах. Он вдруг почувствовал присутствие Смерти – каждый раз, когда он вдыхал в лёгкие новую порцию гари, это чувство усиливалось. Он сжал рукоять бронированной двери и едва удержал себя, чтобы не распахнуть её.

– Приехали, штандартефюрер. – Водитель хлопнул ладонями по рулю, но барон будто не слышал.

«Ну-ну, – сказал себе он. – Не спеши встретиться ни с Богом, ни с Дьволом. Смерть... единственное с чем стоит считаться. Впрочем, – он холодно усмехнулся, – это тоже отвлечённое суждение. Ерунда, хотя... Умирать никто не хочет. Медленнее всегда лучше, чем быстрее. Тебе надо ещё отомстить за гибель твоего лучшего друга – Германа Шнитке... но главное, свети счёты с этим красным псом».

«Scheibe!...sich einen ballern...» – Он заставил себя отпустить ручку и, не обращая на немой вопрос глаз водителя, откинулся на пухлую кожаную спинку сиденья.

«Не делаю ли я ошибки? – перед его ледяными глазами вновь проявился образ майора Танкаева, запоминающиеся внешние данные и отличная физическая форма. Пропорциональное телосложение, борцовский торс, длинные мускулистые руки... Вспомнились выразительные тёмные с фиолетовым отсветом глаза, крупные черты мужественного орлиного лица с характерно вырезанными высокими скулами, повадки настоящего дикого зверя, – молчаливого, сильного, дерзкого, а потому загадочного и опасного. Важное в его даровании, – отметил барон, – умение держать паузу в разговоре и самому держаться с огромным достоинством.

«Серьёзный ли он для тебя противник? – Отто вдруг услышал свой внутренний голос. – Вопрос надо ставить иначе: серьёзный ли он актёр, и для какой роли? Для роли моего палача... Хм, он самый что ни на есть серьёзный и опасный противник», – ответил он сам себе. Его мысли прервал вызов рации.

– «Адлер» вызывает «Конрада». Приём!

Водитель сразу протянул рацию барону.

– Wer ist das? Кто это? – властным жаром дышала трубка.

– Das bist du Otto? Weshalb bist du so spat gekommen?¹

– «Конрад» слушает. Приём.

– Ты вновь втравил меня в свою игру, «Конрад»? – Отто с порога узнал голос Старины Хубе, он не обещал ничего доброго. – Раньше ты считал меня дураком. Так вот напоминаю: Я следую за каждым твоим шагом... И жду решительных действий. До общевойсковой операции осталось не более получаса. Приём.

– Яволь, экселенс. Мой «зверинец» в полном порядке. Приём.

– Вы должны быть готовы к боевым потерям.

– Я готов, «Адлер».

– В случае удачи, вас ждёт награда, «Конрад». А когда есть почёт и деньги... время и опасность не играют роли, мой мальчик. Приём.

– «Адлер», сколько раз я могу пользоваться этим счётом?

– Пока не кончится предел моего терпения. Приём.

– Как я узнаю об этом, экселенс? – фон Дитц задержал взгляд на сочном огоньке индикатора.

– Если он переиграет вас, «Конрад», и на сей раз... Вы знаете о ком я говорю... Вам лучше, дружище, вклеить себе пулю в лоб. Вести из Берлина, увы, не радуют.

– Что ещё?

– В случае проигрыша, нам всем оторвут погоны и головы тоже..

¹ Это ты, Отто? Какого дьявола так поздно? (нем.)

– О, вы сама доброта, chef. А не пошли бы эти умники из Берлина, куда подальше... Здесь, на фронте, мы проливаем кровь и отстаиваем честь Рейха, а не занимаемся шарлатанством за хрустальным шаром... Приём.

– Я процитирую вам лишь известные слова, друг мой: «Главное разоружить противника нравственно. Вот, что первостепенно, сломать их дух.»

– Я знаю вкус сезона, ратон. И скорее дам по зубам святому Патрику, чем дам себя провести. Вернее дам ему выиграть в нашей игре.

– Я ещё раз спрашиваю... Вам ясен приказ, «Конрад» Что? Не нравится приказ?

– Приказ не девушка, что бы нравиться.

– Зер гуд. Дельный ответ, «Конрад». С девушками и вправду, случаются недоразумения. Так держать. И да прибудет с вами Бог. Конец связи.

Фон Дитц положил трубку в гнездо аппарата, подмигнул водителю и, тая улыбку, спросил:

– А тебе, приятель, нравится смерть?

Водитель дёрнул кадыком, не зная что ответить начальству.

– Почему нет? – штандартенфюрер открыл дверь броневика и, ставя сапог на землю, сказал: – Зря... Она прекрасна, солдат. Об этом писали великие философы... Ею любовался Александр Македонский, Цезарь, Карл Великий. Наполеон, Бисмарк... Впрочем, тебе это не понять. Войй честно, живи долго и сыто, солдат.

* * *

– Связь с правым берегом, товарищ политрук. Генерал Березин... Второй раз набирает!.. – громко взывал связист, дёргая в отчаянье губами. – Срочно требует найти комбата Танкаева!

– Не ори! Ищут. Послали за ним! – отрезал Кучменёв, делая финальную затяжку. В его красных от бессонницы глазах, отражалась взлетающая осветительная ракета. Повисла, как оранжевая звезда. Озарил мрачные фасады с чёрными проломами окон, дыры и вмятины от пуль и снарядов. Длинную, за порошенную снегом улицу, которую усыпали обломки шифера и черепки кирпичей, комья мёрзлой земли, вокруг которых лежали свинцовые силуэты убитых, и мертвенно-серые тени хмурого дня. Оранжевая звезда погасла, и всё исчезло в глазах Алексея, стоявшего у амбразуры. За стенами штабного блиндажа тяжёлым басом рванул фугас, косынки пыли-земли-песка просочились сквозь потолочные щели.

– Так, может... всё-таки вы, товарищ капитан? – в руке младшего сержанта Бочкарёва, словно горящая головня, сотрясалась трубка.

– Да нет же, не-ет!.. – у меня последних данных, сержант! Мать-перемать... Это что-то с чем-то! Ну, Бочкарёв, ты мне жилы вытянешь... быстрее чем гестапо. Да-ва-ай, сюда!

– Отставить бега! Вольно. Как видишь, жив. Я сам доложу комдиву. – Комбат Танкаев решительно прошёл к столу, взял трубку.

– «Берег», я «Вэтер», как слышите?

– Слышу хорошо. Ну, наконец-то! – голос комдива был строг, но сдержан. – Вот уж воистину «ветер». Тебя трудно найти.

– Слишком многие ищут.

– Не задирай нос, сынок! Как прошла встреча?

– У волка одна песня. В пустую, «Берег». Только врэмя потерял.

– В «пустую» Родину не защищают, понял?

– Так точно.

– Доложи, где находишься? – настроение Семёна Петровича как будто улучшилось.

Магомед Танкаевич продолжал отвечать на его закодированные вопросы. А сам, будто в зеркале, видел отражение своего командующего. Кожа на лице обветренная, шершавая, грубая, в складках тяжёлых морщин. Губы потрескались. Жёсткий взгляд глаз. Голос тоже жёст-

кий. Улыбка короткая. Разговор скупой и суровый. Вот он – генерал-майор Березин, Герой Советского Союза, герой Сталинградского фронта. Он – такой. И все такие, защитники города на Волге.

Но чуть приглядишься и видишь: грубость эта внешняя, она воспринимается только, как панцирь, как твёрдая скорлупа, защищающая плод ореха. Как сила.

«А сердце нашего советского солдата, – как прежде не раз думалось Магомеду, – на редкость тёплое, светлое. Думается, что на войне у многих оно перековалось, стало чистым даже красивей, чем было. Фашистские солдаты только звереют, сатанеют в битвах. А наш советский человек, защищая судьбу Отечества, борясь за человеческое счастье, становится мудрее, чище, справедливее... Словом, он хорошеет на войне».

– Доложи, где находишься? «Танцплощадка» та же? Сколько «каштанов» у тебя посажено на километр? 50? Мало... С этим в окопах... яиц не высидишь... Понял, чем смогу – помогу. Антоновская «грядка» жива? Не завяла, отлично. Сколько на «клумбе» «гвоздик», а «георгинов»? Н-да, опять не урожай... Чёрт, всё идёт коловертью... Но, ведь, нам ограда не преграда? Нет, закатай губу. Нет! Через не могу – смоги! Твои соседи: «Синица», «Жетон». Те же задачи, тот же приказ! Если дадим слабинку, наши головы полетят к чёртовой матери...

– «Берег», а когда по другому было... Скажи?

– Ты прав, Джигит. Не хочет медведь драть волка... да губу серый теребит в кровь. Ладно, где наша не пропадала?... Вот, вот, – усмехнулся генерал – скажи своим, ободри! Сколько волка не корми, у медведя всё равно больше... А скоро русская зима. Генерал Мороз нам в помощь. Окопались хорошо?

– Можно лучше, да зэмя-камен.

– Ну, дорогой мой, чую, тяжко вам придётся.

– Э-э, кому нынче легко?

– Тоже верно. Держись, Джигит. Стань легендой! Связь каждые полчаса. Позывной тот же.

– Так точно, «Берег».

Комбат машинально передал трубку сержанту. Не замечая никого вокруг, подошёл к амбразуре, в проёме которой был установлен ручной пулемёт ДП и рогатый полевой перископ, скрестил на груди руки.

В эту минуту он испытывал беспокойство и неясную печаль. Не мог забыть разговор с комдивом Березиным, который тепло, по-отечески, назвал его «сыном».

Он не был сентиментальным, но... Это было так важно его огрубевшему, изрубцованному сердцу... Ему лично, боевому командиру, чья жизнь с юных лет, протекавшему среди гарнизонов, учёный, беспросветных казарменных будней, а потом, с фронт, и теперь здесь, в Сталинграде, среди ежедневных крошечных боёв, таила в себе неиссякаемую любовь к жизни, к родному краю – Дагестану, родителям, могилам предков. Таинственную глубину, которая оставалась непознанной, нераскрытой, заслонялась усталостью, ненавистью, непрерывной военной, командирской заботой.

Как если бы он, нырнув в бушующий водоворот, скользил в чёрных грохочущих волнах стремнины с проблеском молний и пулемётных трассеров, вспышками рвущихся бомб, вдруг вынырнул где-то... И оказался на зелёной равнине в оправе сиреневых гор, среди тонких прозрачных трав, в которых нежно поют незримые лёгкие птицы. Эта постоянная зыбкая двойственность томила его, заставляла думать, что он проживает одновременно две жизни. Одну, состоящую из осколочных взрывов, фонтанов огня, криков боли и ненависти... Другую – тайную, из нежности, печали, любви, где его ожидало чудо. То ли встреча с ненаглядной русской девушкой Верой, то ли свидание с матерью на ступенях сакли в родной Ураде, куда они после войны, придут вместе с любимой.

...Образ отца Танка, что всегда жил в его сердце-сознании, был с ним рядом, являлся опорой, под могилой, витал и теперь где-то поблизости, хотя их разделяли многие сотни вёрст минных полей, безмянных братских могил и разбитых войной дорог... Тем крепче была его боевая-духовная скрепа с комдивом Березиным. Он тоже в какой-то мере для него стал отцом. Они редко виделись. Их тоже разделяли: то дымящиеся кварталы, то минные заграждения, то красные от крови волны на Волге, то сизые туманные от гари площади. С передовой, которая, как кромка фрезы, врезалась в город, он не мог дотянуться до штаба фронта, где теперь находился комдив. Но чувствовал его волю и мысль по приливам и отливам штурма, темпам наступления, пульсу обороны, замедлению и убыстрению атак. По причудливому изгибу передовой, которая то накатывалась на городские кварталы, раскалывала коробки домов, резала-кромсала площади, то отступала, оставляя после себя пахнущие горелым мясом и костью дымящиеся пожарища. И теперь, стоя у замороженной кирпичной стены, глядя в узкую щель амбразуры, в которой стоял кусок враждебного серого неба, он чувствовал незримое плечо своего наставника – комдива Березина.

Глава 5

...Размяв в пальцах папиросу, щёлкнув зажигалкой, он припал глазами к перископу. Острая память комбата бегло перебирала страницы последних дней...

Исчерпав летний военный ресурс, наступательный порыв, – фашистские полчища были измотаны и остановлены яростными контратаками советских войск. Наши вели упорные-ожесточённые бои с гитлеровцами. Приказ Сталина войскам: «Ни шагу назад!» – дал свой стальной результат. Все атаки были отбиты. Враг сумел лишь ненамного продвинуться к Волге. 6-я армия Паулюса, при поддержке группы армий «Б» – фон Вейхса и 4-й танковой армии Гота, – готовили новое массивованное наступление.

На восточном и северо-восточном направлениях, в районе действий 6-й армии в первых числах октября началась интенсивная подготовка к наступлению. Неподалёку от обширной заводской зоны, Мамаева кургана и Красной слободы, немецким командованием был избран плацдарм, удобный для развёртывания наступления, и артиллерийская подготовка началась.

Небывалое количество артиллерии, тяжёлой бронетехники было стянуто к указанному месту. Сотни тысяч разнокалиберных снарядов в течение недели месили пространство, занятое тремя линиями советских окопов.

В первый же день. Как только начался интенсивный обстрел, наши покинули первую линию окопов, во избежание массовых жертв, оставив наблюдателей. Через несколько дней, по приказу командования оставили и вторую линию, перейдя на третью. Наконец огненный ураган утих. Паузу временного затишья использовали с толком: по темноте подразделения вернулись на исходные позиции, была сделана некоторая перегруппировка войск, вновь окопались, наладили прерванную телефонную связь. Теперь ждали наступление немцев. Состояние у всех было на взводе. На передовой, на самом острие, нервы у большинства ни к чёрту: р-раз и осечка, р-раз и взрыв. Поэтому в траншеях, оглохшие, по трёпаные, нахохлившиеся батальоны, хранили молчание, напряжённо ждали наступления немцев и приказов своих полевых командиров.

Твою мать... Ожидание смерти, страшнее, чем сама смерть! Как не крути...

К 12 октября отдельные передовые части 6-й армии, автоматчики, на разных участках фронта, предприняли пробную атаку. Наступали «французским» способом – волнами. Одиннадцать волн выплеснули немецкие траншеи. Колыхаясь, редая, закипая у безобразных комьев смявшейся колючей проволоки, накатывались серые волны людского прибою. А со стороны защитников, оттуда, из-за обугленных кирпичных руин и земляных сгорбленных увалов, рвало, трясло, взмётывало и полыхало густым непрерывным гулом, трескучим пожаром выстрелов и пулемётных очередей.

– Вууууу... Гууууу... Гах! Гак! Бу-бууум-м!

Временами прорывался лопающийся залп отдельной батареи и снова полз, подступал, полонил много верстовую округу развалин, катился эхом по свинцовым застругам Волги:

– Вууууу... Гууууу... Бух! Бу-ух! Бо-о-ом!..

– Ррррррааа-рррааа-та-та-та-та! – безумно строчили красноармейские пулемёты. Ухали ведьмами крупнокалиберные полковые миномёты.

На пространстве в пять вёрст в поперечнике на перепаханной снарядами-бомбами изуродованной земле, вихрем рвались рыже-чёрные столбы разрывов, и волны наступающих дробились-вскипали, брызгали рассыпались от воронок и все ползли, ползли...

Всё чаще месили-толчили землю чёрные вспышки разрывов, гуще поливал наступавших косой, резучий визг шрапнели. Жестче хлестал прикивавший к земле пулемётный огонь. Били, не подпуская к проволочным заграждениям. И не подпустили! Из одиннадцати волн докатились четыре последних, а от изуродованных проволочных заграждений, поднявших к небу опа-

лѐнные укрепления на скрученной проволоке, словно разбившись о них, – стекали обратно рубиновыми ручьями...

И вот теперь ждали новой атаки озлевого немца, после которой, по всей линии обороны готовилась ответная контратака. Успех её был под большим вопросом. Уж очень сильно закрепился враг в заводских корпусах, превратив их в неприступные цитадели. Цедя сквозь зубы горьковатый дым «Беломора», вглядываясь в линзы оптического прибора, он, как беркут добычу, высматривал опорные заставы противника, расположенные вне непосредственного поля зрения... и приходил к неутешительным выводам. На память сам собой приходил тот злополучный день, тот роковой шквал огня, когда их 100-я дивизия, усиленная танками и самоходками резерва, взвихряла пыль по горячему суглинку, в районе Щигры и Волочанска... Тогда, сотрясая землю, сверкая сталью, наступала грозная советская броня... Шли в атаку по кромке ада! Сквозь дым и огонь, сквозь ливень свинца. Враг был выбит, плацдарм взят, но какой ценой!.. То была Пиррова¹ победа. Вся долина и взгорье, став красными от крови, – чернели трупами наших солдат. Два полка, здоровых сильных бойцов полегли там... Две тысячи солдат потеряла тогда дивизия...

Горячи в памяти были и недавние потери ударного сводного батальона подполковника Соболева, контратака которого захлебнулась собственной кровью у заводских корпусов «Баррикады» и «Красного Октября»...

Нынешний расклад, без ликвидации, «осиных гнёзд» фашистов в промышленных терминалах, не сулил ничего – кроме новых огромных потерь. Ни для кого не секрет: позиции их 472-го полка, в который помимо личного состава комбата Танкаева входили стрелковые батальоны майора Воронова и подполковника Соболева, – находились на острие наступления XIV танкового корпуса генерал-лейтенанта Хубе, в контингент которого

¹ Пиррова победа (от имени эпирского царя Пирра, одержавшего над римлянами в 3 в. до н.э. победу, стоившую ему чудовищных жертв) – сомнительная победа, не оправдывающая понесённых за неё потерь.

входил и элитный танковый батальон тяжёлых танков, под командованием его давнего «приятеля» – штандартенфюрера СС Железного Отто.

...Продолжая трудить глаза, плавно двигая перископом, он увидел в районе промзоны большое белое взрыва, раскалённую медузу ртутного пара, кудлатый кочан ядовитого дыма... сквозь который призрачно проявилось бледное, как лунный кладбищенский свет лицо фон Дитца, похожее на зловещую посмертную маску. Магомед внутренне содрогнулся – маска холодно улыбнулась ему, будто сказала: «Жду тебя. До скорой встречи в аду». От неё веяло колдовской силой Зла, надменной, уверенной, непоколебимой.

Комбат оторвался от перископа, провёл ладонями по лицу, будто смахнул с него холодную, липкую паутину дурного сна.

Прочь шайтан! Он верил в свою удачу. Верил в не оставлявшую его, хранящую силу, с самого детства проводившую по самому краю, когда под ногами начинали сыпаться камни, и он, семилетний, колебался на шаткой кромке, за которой обрушивалась синяя клубящаяся туманами бездна мерцающей змейкой реки.

...Когда немецкие пулемёты и автоматы под Москвой в 41-м выкашивали-выбивали вокруг боевых товарищей, и они, кропя своей кровью пористый наст, умирая, ползли в лес, а их пробивали сердечниками, и пуля сочно ударила в сосну меж его судорожного растопыренных пальцев, обожгла раскалённой корой.

...когда в пылавшем Воронеже, они прыгая по трупам, заняли первый, второй, а затем и третий этаж особняка в котором находилась комендатура гитлеровской фельджандармерии.

...когда он оказался в цепких руках особиста Хавив, когда на его горле практически захлестнулась петля злого рока, Всевышний дал ему шанс бежать...Провёл невредимым по

огненной тропе, куда вслед ему, уже на пустое место, пикирующий штурмовик ударил гвоздящей строкой свинца, а бомбовый разнёс в клочья преследующий его виллис.

...и теперь эта хранящая сила, молитва матери и отца, открывшие под сердцем родничок прохладного сладкого чувства подсказывала ему что он должен выстоять в поединке с судьбой.

– Это что-то с чем-то...Закружила, запружила война...с весны не вылазили из окопов. Немец прёт, как заведённый...– Стоявший чуть поодаль политрук Кучменёв, растёр ладонью бледный хрящ розоватого уха. – Что комдив, Михаил Танкаевич?

– Приказал героев-бойцов награждать прямо на поле боя. Гаварыт: «Вот вам в этом деле моя рука, мои награды и моя генеральская чёт.» А ты, комиссар, что скажешь по этому?

Алексей поморщил лоб, поглядывая то назад, на раёк связистов в наушниках, то на крутой, твёрдый, как камень, подбородок Танкаева.

– Ничего. Я лучше помолчу.

– Э-э, помолчу? Или промолчу? – майор приподнял бровь.

– А чего тут языком горох толочь? Ежу понятно. Значитца придётся погибнуть смертью храбрых.

– Война, политрук, как по другому?... «Чэрез не могу – смаги», – комбат повторил слова генерала. Крепко затянулся папиромой, окутался дымом и добавил: – Такой удэл в Сталинграде у каждого.

– То-то и оно... Не расстреляют, так один хер, гусеницами раздавят, как кроваву соплю.

– И это гаварыт...старший политрук? Коммунист? – Каторый сам выкорчёвываает штыком и гранатой врагов народа? Карает свинцом прэдатэлей, саботажников, паникёров?!

– А что я должен, командир...говорить только шершавым языком плаката и боевого листка? Да коммунист, но не штабной попугай с партбилетом...По вашему политрук-комиссар...что же, не человек? Я прежде боевой офицер. Сам знаешь, в политработники удила не рвал...

– Отставит, капитан! Иай, что за разговоры, Алэксей Алéксандрович-ч? Пэтрушку валяеш-ш передо мной, зачэм! – ломаая взгляд Кучменёва, сдержанно, чтобы не привлекать внимания связистов, прорычал Танкаев. – А впрочем, продолжай, капитан. Знаю, ты – воин. Имееш-ш право. Ну!

– Да знаю, понимаю я всё, Михаил Танкаевич, – Кучменёв сыграл желваками, более глухо сказал: – Наша дружба с тобой, командир, полагаю, не лютая...Кровью спаянная. За голос, прости. Нервы звенят...Это уж так, вырвалось...между нами. Ну, а если серьёзно, по существу, – политрук рубанул, что шашкой, рукой, зрочки сталистых глаз, вспыхнули раскалённой картечью. – Фриц паскуда, один бес, выдавил нас к Волге. Ещё рывок и хана всем...

Комбат цокнул зубом, с нарастающим гневом оборвал:

– Цх-х, опят за своё?

– Не за себя...За ребят наших сердце кровью исходит...

– Нэ у тебя одного! Дальше давай!

Так вот, хотел бы я знать, – Кучменёв сжал кулаки, – когда в Ставке прочухают наконец: резервы, мать их...нам во-о, как нужны! Или они считаю, – серповидная улыбка исказила лицо, – мы трёхжильные, из железа кованы? О-ох, командир, – Алексей мрачно покачал головой. – Не мне тебе говорить...Вот накипит силой фашист и кирдык нам! Сковырнёт, как коросту, утопит в Волге, точно беззубых кутят.

Танкаев угрюмо слушал Кучменёва, сделал резкий жест, словно пытался прервать политрука, потом сунул руки и зашагал по блиндажу с папиромой в зубах, хмуря брови. С трудом сдерживаясь со злобой сплюнул:

– Значит кирдык. А, ты-ы, – он вдруг впился горячим взглядом в Кучменёва. – За мать, за отца...жизнь не отдал бы?! Э-э, – он диковато повёл глазами. – За Родину, за Сталина, за могилы предков...и умерёт не страшно. У нас гаварят: «Могилы воина не на кладбище» и ещё

гаварят: «После смэрти коня остаётся поле, после смэрти героя – имя». Ладно, проехали! – Танкаев снова подошёл к амбразуре, булатный кинжал отца в узорных ножнах грозно покачивался на его поясе. Он хотел что-то сказать, как дверь в блиндаж распахнулась, и на пороге, с ППШ на груди, объявился капитан Кошевенко. Жёлтый стяг света, падавшего от гильзового светильника, маслянно блеснул в лицо вошедшему.

– Здравия желаю, товарищ майор. С благополучным возвращеньцем, – картаво и весело гаркнул он, как залетевший с парной пашни грач.

– Дожд? – Танкаев посмотрел на сырой защитного цвета бушлат и обмякшую от влаги фуражку ротного командира.

– Так точно, со снегом! – ответил Артём. – А у вас тепло. Надышали. В сон так и морит. Разрешите, обратиться к товарищу старшему политруку.

– Разрешаю, – Магомед Танкаевич угадал по голосу капитана Кошевенко, что тот переполнен чем-то, как трофейный флянчик шнапсом.

– Ну, не тяни! – политрук сердито, стараясь переломить в голосе дрожь нетерпения, повернулся к Артёму. – Не уж получилось, Тюха?

Так точно, Саньч, – на обветренных губах ротного хоронилась победная ухмылочка. – Всё лыко в строку, комар носу не подточит. Теперича поглядим, – Кошевенко распахнул в улыбке щербатый рот. – Ан-те-рес-но, что наш фриц: закудахтает, али закукарекает, когда мы жажнем и жиманём их петушатню!

– Потери есть?

– Никак нет! Все целёхоньки, хоть щас на ВДНХ! – бойко ответил Артём, пестая на груди, как жёнушку ППШ.

– Э-э, ты, что вэсёлый такой? Пил что ли?

– Как можно, товарищ майор! – сверкая глазами пуговицами плутовских глаз, повёл в сторону головой Кошевенко.

– Есть новость, Михаил Танкаевич. Хорошая новость! Разрешите...

– Выкладывай! – Танкаев оседлал табурет.

Кучменёв по-военному быстро и чётко изложил произошедшие события в отсутствие комбата. Доложил о доставленных Ледвигом «языках», о допросе последних с пристрастием и о принятом капитаном Кошевенко с сапёрами рейде. При этом сам Артём блаженно улыбался, сделал вид, будто хлещет себя в бане веником по ягодицам. Танкаев засмеялся, а вместе с ним и все остальные.

– Ай, маладэц, чэстное слово! Чёртовы «Баррикады» заминировал под носом у немцев. Вах, герой! Если получитца всо чисто, чэтно и ясно – ордэн с меня! Сапёрам, дашь полный список фамилий – медаль «За отвагу». Эй, сержант Бочкарёв!

– Я товарищ майор.

– Срочно свяжи меня с «Бэрегом», с комдивом Бэрэзиным! Пуст порадуецца отэц... Этож, товораищи вы мои, совэршенно меняет дэло! Вай-ме! Сколько рэбят сбережом, политрук! Сколько матэрей счастливыми сделаем! Ай, дай, даллалай...в пору лезгинку танцевать...Клянус! Бэрэзин, как узнает об этом, самому Чуйкову доложит о сём!

– Есть!

– Иай, шайтан – Артом Кашевэнко! – Абрек загремел табуретом. – Дай я тебя обниму кудрявого! Если и впрямь возьмём «Баррикады», свэрли новую дырку в новых погонах...Хо! В майорах хадыт тебе. Значит, гавариш-ш, всо как надо?

– Как часы, товарищ комбат. Прикажете жажнуть, – тот час фрицев на небо пошлём! Прродуем им ноздри...

– Нэт, нэт! Торопитца нэ надо. Немножко подождём приказа... А уж потом вдарим под хвост! Зацэлуем, задушим в сэрдечных объятях фрица. А, товарищ Тройчук? – он белозубо

улыбнулся, сидевшей тут же, неподалёку за рацией Вере. Она зарделась щёчками, разделив вместе с ним и со всеми радость неожиданной вести.

«Люблю...» – говорили его сверкавшие тёмно-каштановые глаза.

«Люблю тебя...» – так же безмолвно и светло ответили её лучистые фиалковые глаза. И, точно вторя их признаниям, вдалеке у Мамаева кургана взорвались сыпучим огнём фугасные бомбы, словно вспыхнули громадины-люстры, высвечивая ослепительной вспышкой потаённые глубины города-кратера, в которых на секунду возникли и тут же забылись картины другой мирной жизни, а, быть может, иных миров. Гасли, разлетались брызгами сварки по углам блиндажа, оставляя в центре серебристо-пепельную пустоту. Чуть искрились у настенной карты с красными-чёрными флажками-булавками, у амбразуры с ручным пулемётом, двурогим перископом, у печки-голландки с чугунками и мисками.

* * *

Из воспоминаний генерал-полковника Танкаева М.Т.

«...первый снег – он выпал 22 октября...так похожий на траурный белый саван. Меж тем ожесточённые бои в городе всё ещё продолжались. Таких битв за города в Европе не было. Немцы пытались прорваться к Волге любой ценой, обрушивая на наши рубежи ежедневно свыше 1000 тонн боеприпасов. Телеграфные столбы горели, как спички, как вулканическая лава чадил, плавился, тёк асфальт. Высотки превращались в слоёный липкий пирог из крови, мяса и костей. Немецкую, советскую форму – не разобрать – всё было покрыто серо-коричневой пористой коркой. Горы из битого кирпича-бетона насыпались до 8-10 метров в высоту. Дома – жуткие коробки, перекрытия которых все давно прогорели и рухнули вниз. Горело положительно всё, что только могло гореть. За первый месяц сгорело всё, что только могло сгореть. И всё-таки город продолжал полыхать огнём жарких пожарниц.

...лётчики: наши и немецкие в этом огненном аду путали своих с чужими не в силах различить даже развёрнутые боевые знамёна; нередко сбрасывали боеприпасы и провиант на удачу. Патроны и стволы деформировались от ударов о землю, сухари и галеты, тушёнка и консервированные каши падали то на окопы фрицев, то прямо к нам.

...Река периодически становилась алой от крови; баржи, баркасы, катера, лодки, плоты, казались сидящими на воде утками. Теперь она была снова в огне, а в километровых прогалах, багровая вода – запруженная, словно топляком, трупами, – тяжело колыхалась, будто дышала... 80 дней и 80 ночей рукопашных гладиаторских боёв сделали людей зверьми. Помню, что любая длина в те дни измерялась не метрами, а количеством трупов. Заваленные камнями, они валялись повсюду. Особенно врезались в память мёртвые матери обнимающие убитых детей...И мёртвые дети, пытавшиеся поднять убитых матерей. От этих реальных картин, куда более жутких, чем фантазмагорические сюжеты Босха, волосы вставали дыбом даже у бывалых фронтовиков-ветеранов.

...Рост потерь в те месяцы-дни был ужасен. Бои шли невероятно свирепые кровопролитные, похожие на конец Света. Приведу лишь один пример: любая атака была равносильна самоубийству. Превосходство врага в Сталинградской битве особенно ощущалось в первый месяц. Перевес в тяжёлой артиллерии и бронетехнике был ошеломляющий: 1к 12-и такое соотношение! Но приказы не обсуждаются. И мы, как и другие дивизии стояли насмерть. За один дом, используя миномёты, пулемёты, гранаты и штыки, солдаты могли драться до 15-ти дней! Оторванные головы, куски человеческой плоти можно было увидеть на всех этажах...После штурма Мамаева кургана из 4 тысяч человек в живых оставалось не более взвода. Концентрация оружия на квадратный метр была такова, что уничтожить идущую в атаку дивизию, требовалось не более 20 минут.

Немцы называли эту городскую войну – «крысиной войной», которая от солдат Вермахта требовала: сверх-живучести, сверх-быстроты, сверх-отваги, сверх-осторожности,

сверх-находчивости, умелого обхода препятствий, которые так виртуозно способны обходить обычные городские крысы.<...>

В октябре <...> враг вплотную подошёл к Волге. Теперь немцы видели решительно всё, что творилось на воде; бомбили, дожжимали и расстреливали перекрёстным огнём обескровленных защитников Сталинграда. Жизнь перестала вообще чем-то считаться... Гибли десятки, сотни тысяч! А это уже статистика.

Но как не рвался Паулюс к Волге, взять город имени Сталина полностью, пробить, слипуюся от крови и тел защитников массу, так и не смог. Волгу форсировать 6-я армия тоже не смогла. А потому, исчерпав наступательный порыв, легионы Вермахта были остановлены яростными контратаками советских войск. Да, 6-я армия покуда ещё добивалась локальных успехов, но победа по-прежнему оставалась призрачной фата-морганой. <...>

Сталинградский маятник качался 2.5 месяца, прежде, чем наши, усиленные подтянутыми резервами, войска перешли в решительное контрнаступление. <...> Именно в октябре 42-го, Ставка завершила секретную разработку плана окружения Сталинградской группировки противника – план который получил кодовое название «Операция Уран». Для проведения этой широкомасштабной операции Верховное командование развернуло Юго-Западный (350 000 человек) фронты. Юго-Западный фронт должен был развивать наступление на Чир и Калач, а Сталинградский фронт – на Советский и Калач. Измотанная боями 62-я армия командарма Чуйкова обязана была сковать силы 6-й немецкой армии в самом Сталинграде, а 64-я атаковать противника с Бекетовского выступа. <...>

Своё последнее решающее наступление в Сталинграде, немецкие войска начали 11 ноября. К вечеру части наших советских войск сохраняли за собой лишь три небольших плацдарма на берегу Волги: на севере – около 15000 человек в районе рынка и Спартаковки; в центре – 600 человек в районе завода «Баррикады»; на юге 46 000 человек и 20 танков».

* * *

...офицерский «парабеллум» в чёрной глянцевиной кобуре жёг бок, словно страстный поцелуй. Железный Отто, как всегда по-военному элегантный, в чёрном яйцевидном шлеме, облачённый, в такого же цвета комбинезон танкиста, затянутый ремнями, в кожаных перстатых крагах, жадно вдыхал запах пороховой гари, машинного масла, разрушений и крови, пока лёгкие его не распухли от этих сладких для него запахов.

В правой, без перчатки, руке он нежно нянчил охотничью серебряную рюмку с французским коньяком «Курвуазье», согревая её теплом своей широкой ладони. Прямо перед ним, вдоль сохранившейся больничной ограды длинно выстроилась стянутая в один жирный стальной жгут грозная броня гусеничных монстров. К поставленному перед танковым строем походному раскладному столику, возле которого находился фон Дитц и где батальонный писарь бегло записывал результаты осмотра техники, подбежал командир танковой роты Юрген Ханс. Он был замыкающим со своими экипажами в осмотре бронемашин и не хотел задерживать подмёрзших на холодном ветру фронтовых товарищей. Что-то быстро ответив на вопросы писаря, он собрался уже вернуться в строй, когда услышал окрик шефа:

– Унтерштурмфюрер, ко мне.

– Яволь, мой командир! – в следующее мгновение, он уже щёлкнул каблуками, вытянулся во фронт перед бароном.

– Вольно. Гутен таг майн фройнде, – совсем не по-военному приветствовал земляка Дитц. – Ты в порядке, Ханс?

– Так точно, штандартенфюрер. Как и мой «Кронвальд». 4-я танковая рота готова к бою. Ждёт ваших приказаний, штандартенфюрер. – Bravo отчеканил Ханс.

– Хороший ответ. – Отто сделал мелкий глоток. Подставил лицо ветру, который нёс по площади запах горючего, выхлопных газов грузовиков и бронетранспортёров, конской-люд-

ской мочи и подтаявшего снега. Невесёлое, как с тяжёлого похмелья, из-за грязных дымов проглядывало солнце.

– Вот. Когда от меня в Берлине ушла любовница, Юрген, – барон язвительно усмехнулся. – А через сутки эта гонористая сука вернулась... слёзно попросив понять и простить её... Я промолчал от бешенства. Я сломал нос и выбил пару зубов одному верзиле в пивной и врезался на машине в столб. Но при этом, майн фройнде, я был в полном порядке. Что-о? Не понятно зачем я это сказал? – он вновь сделал мелкий глоток. – К тому, что ты научился держать удар, Юрген. Да, да... Генерал Ханньо Хассе уже вылил на меня ушат помоев по поводу вашего внешнего вида, унтерштурмфюрер! – улыбка Дитца вконец заморозила всех командиров танковых рот. В льдистом взгляде шефа дрожали огневые светлячки. Ханс промолчал, поскрипывая новой портупеей, от него резко пахло бензином и соляровым маслом. Он право, не знал, что ответить, зато почти физически ощутил, как полукружия пота на натальной рубашке, скрытой форменным комбинезоном увеличились в радиусе.

– Да полно, Юрген, бледнеть. Я всегда тебя помнил в бою злым, отважным и твёрдым, как померанский бук, мм?

– Был, мой командир. Был твёрдым, да вот теперь... помяли, – дыхнул скороговоркой танкист.

– Хм, это из-за надутого на весь мир, бритоголового индюка Ханньо Хассе?

Юрген вновь благоразумно не вымолвил ни слова.

Фон Дитц обжёг губы коньяком, холодно улыбнулся.

– Что ж молчание ваше, унтерштурмфюрер похвально. Но полно тебе дружище... Не забывай из какого ты братства. Мы все здесь из Ордена СС. И нам, рыцарям Рейха, не пристало склонять головы перед горластыми тыловыми умниками в лампасах. СС своих парней не сдаёт! Выше голову, Юрген. Разве, в тебе ещё живы такие розовые сопли? Если они не высохли тогда, когда ты был ещё буршем, то неужели, ты, не похоронил их здесь, на Восточном фронте? Плюнь и забудь! У нас на груди Железные кресты Рейха, серебряные-золотые знаки «За танковые атаки», почётные знаки для шнуров «За меткую стрельбу», боевые медали «За смелость» и дубовые листья «За ближний бой», когда наши клинки не раз окрашивались кровью свирепого врага. Майн Готт! Спросите этих жирных тыловых котов... Был ли кто из них на передовой больше суток? Ходил ли в штыковые атаки, участвовал в рукопашных боях? Горел ли в танке? Кормил вшей в ледяных окопах и замерзал в проклятых русских снегах?! Если у них боевые ранения? Контузии, шрамы? Наградные кресты с мечами и за какие-такие сражения? Молчите? Так я отвечу за вас: свинье в огороде одна честь – полено! Пусть не лезут в наши дела. Здесь, в Сталинграде, нам не до галстуков с пудрой.

У нас – кровь и слава... У них – химеры и карусель в мозгах от успехов. Они «не всем благоволят», а мы не всех «приглашаем»! Давно известно, господа: высокие места в Берлине, ничтожных делают более ничтожными, а великих более великими. Знатные ничтожества заставляют слушать нас их трескучие тирады... И это в то время, когда желудок солдата требует завтрака – священного для каждого немца! Дьявол! Ждать можно даму сердца и то не больше пяти минут. На войне у солдата радостей мало... А посему, – к собачьему хвосту берлинских паркетных крыс! Пусть хоть мир провалится, но сон и еда по расписанию!

– Золотые слова, экселенс!

– Bravo, барон! В десятку!

Отто выдержал паузу, бросил через плечо Юргену:

– Встаньте в строй, унтерштурмфюрер.

Bravo щёлкнули каблуки. Юрген Ханс, не скрывая счастливой улыбки, быстрым шагом направился к своей танковой роте.

Фон Дитц морщась от стелющегося по развалинам едкого дыма, кашлянул в кулак, поправил форменный тёмный галстук.

– Война отняла у меня юность, как у большинства из вас. Так, что когда будете в отпуске...спешите наверстать упущенное. У нас, как и у лучших ребят СС, одна философия: убей или умри. Но этот девиз для войны... Там, в родном Фатерлянде – он широко улыбнулся, – к аббревиатуре СС рекомендую добавить ещё одну «С» – «ССС» – выжмите педаль акселератора до отказа... Дайте, полный газ: секс, садизм и снобизм! Пусть это, как эротический сон-фантазия в пятнадцать лет, – придёт с вами и в спальном грехе в борделе, и на весёлой пирушке с друзьями!

– Bravo-o!

– Виват экселенс!! Мы с тобой!...

– Scheibe! Ficken bumsen blasen! – фон Дитц по-казарменному грязно выругался в адрес «партизанских говнюков». – Видит Бог! Я думал, что достиг всего, когда заслужил в Северной Африке два «Айзенкройца» – 1-й и 2-й степени. Генерал Роммель – Лис Пустыни, представил меня тогда к Рыцарскому кресту... Позже, в Северной Европе я был награждён вторым Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Фотографируясь в Берлине в парадной форме...делая студийный портрет, я был уверен, что добился чего хотел, и весь этот безумный мир у меня в кармане... Но оказавшись здесь, на Восточном фронте, иллюзии полетели к чёрту... Всем нам открылась другая правда... Prost! Дьявол нас всех побори! Советская Россия оказалась крепким орехом. Прав был Бисмарк: «Чтобы убить русского, его дважды надо проткнуть штыком и пнуть сапогом, только тогда он упадёт». Да, наши генерал-фельдмаршалы жестоко просчитались. Этих русских приматов с гранатами оказалось втрое больше нас... Ну что ж, плева-ать!

Ротные командиры, стоявшие у своих «тигров» и «пантер», увидели, как оборачивается в их сторону лицо Железного Отто – белое, словно высеченное из снежного мрамора. В побелевших, с расширенными зрачками глазах брызгало бешенство. Он вдруг засмеялся, вспомнив утренний разговор со своим заклятым личным врагом майором Танкаевым, сначала беззвучно, сжав зубы, трясая головой, дрожа, как в лихорадке. Потом во всю грудь, заходясь клёкотом, раскрыв широко ледяные глаза, грохоча хохотом, брызгая слюной.

– Р-русские! Да, тысячу раз да-а!! Отлично, господа!! Значит будем истреблять этих грязных свиней в три, в десять раз больше! Чем плох мясной, кровавый рулет из их большевистского месива?! Испытания, кровь – цементируют нацию! Рейхфюрер Гиммлер сказал: «Уничтожение врагов Рейха – наша профессия, священный долг СС! Убивайте всегда и везде, как можно эффективнее и прочь из головы – беззубый лживый пацифизм. Фюрером и судьбой нам – арийцам дано право убивать любого, кто встал на нашем пути! Если надо, то надо. Если случилось – это случилось. Покаяния здесь не уместны. Сожаления не профессиональны, преступны и подлежат суровому наказанию! Помните, о своей исключительной миссии! Мы немцы – это zeitgeist! Дух времени и новый мировой порядок».

Отто фон Дитц широким шагом прошёлся вдоль командирских танков, вернулся к месту, где ещё минуту назад находился раскладной стол. Охватил взглядом шеренгу.

– И последнее! За этими руинами Волга! За этими домами – конец войны. За этой рекой золотоносный Урал и белые пляжи Индии. Сказочные сокровища, пальмы, бенгальские тигры, слоны лукавых раджей и бархатный песок для измученных ног легионов Третьего Рейха! А в Индии, – фон Дитц плотоядно улыбнулся длинной белой улыбкой и подмигнул всем сразу, у всех шлюх по шесть рук. Только представьте этих сочных, как фрукты, грудастых шлюх на броне ваших «тигров»!.. Только представьте, что эти златоглазые бесстыжие потаскухи...одновременно могут сделать шестью руками? Varenkiller...Nutten ficken! До этих благословенных пляжей не смогли пройти легендарные гоплиты Александра Македонского... Но мы дойдём, будь я проклят! Эй, может, кто-то не хочет со мною в Индию?

Одобрительные, возбуждённые выкрики танкистов ружейными хлопками разлетелись окрест.

– Помните! – Железный Отто повысил голос. – Жизнь идёт медленно, а проходит быстро. Особенно на Восточном фронте. Помните об этом. Берегите себя! Вы нужны мне и Великой Германии. За вас, мои бесстрашные die ritter! – Он поднял серебряную рюмку на уровень груди и, сохраняя военную выправку, не опуская локоть, допил её до конца. – По машинам! Бог с нами!

Глава 6

...Чумазое солнце с ликом, похожим на мятый избитый гонг, дыбилося нал Сталинградом, и там, где оно пробивалось сквозь грязные-кровавые бинты дымов, над чёрными гробами развалин цедился на землю мутный, как горчичный отвар свет.

Комбат Танкаев, после разговора с комдивом, окрылённый бодрящей вестью Кошевенко, покинул душный насквозь прокуренный блиндаж, всматривался в заснеженное, в утренних длинных тенях, пространство перед промышленной зоной. Привычно делил на отрезки дистанцию возможной контратаки. От угла развалин городской общественной бани, за которым укрывался, до перевёрнутого вверх дном, с откусанной снарядом кабиной, сгоревшего немецкого грузовика, от которого на седой снег ложилась уродливая тень. От грузовика до покосившегося фонарного столба с остановившимися часами, исклёванного пулями, ослеплённого светофора. От него до истрелянной легковушки, превращённой в дуршлаг, уткнувшейся смятым бампером в грязно-жёлтый фасад, рябой от попаданий. Это были рубежи залегания, куда, под прикрытием танков и боевых машин подполковника Ребякова, по приказу из штаба командующего Чуйкова, должны были подняться на штурм заводских цехов батальоны 472-го стрелкового полка, оставляя на снегу зигзаги-вереницы следов, багряные кляксы раненых и десятки – сотни убитых.

...близко, в тылу приглушённо, как медвежий выводок, приглушённо рычали моторы танков, готовых выдвинуться на прямую наводку, сделать несколько выстрелов, расшибая вдребезги подъезды и окна, вырывая куски домов, и снова отпрянуть, уклоняясь от гранат и снарядов противника.

Танкаев смотрел на мутную полуду небес, мешавшую наблюдать, опасаясь, что, набрав силу солнце, ослепит атакующие цепи.

– Цх-х, – щёлкнул он языком, – используют нас, как зубило!... Прав Кучменёв... Долбим и долбим в одном направлении! Только на нашем участке и ляскает челюстями война, а на других чай гоняют и двухрядку растягивают, будь здоров. Оно понятно... чужие псы дерутся, свой не мешают... – прислушиваясь к канонаде Мамаева кургана, итожил он. Там, с мощным хрустом и скрежетом шёл жестокий бой. На окопы и баррикады защитников, как жуткие, закованные в броню чудовищные твари, напозлали танки генерала Хубе.

– Шшш-шшш-шшш-уууу-уу-оо... Гууух! Гу-ууу! – плыл-рокотал разрывами оттуда хрипатый, остервенелый гул.

– Всо взрно. Волк улыбаецца, жрёт барана. И за что нас в штабэ... так нэ взлюбили!.. Кнопкодавы чёртовы. Вай-ме! Только мы и воюем... – на аварском зло выругался Магомед и тут же горько усмехнулся своим доводам. – Э-э, на войне каждый командир думает, что всё снаряды его... Что в его окопах самое пекло... Что его позиции больше других в огне.

Но в каждом домысле, равно в шутке, – есть доля правды. Как и, окопавшиеся по флангам, впритык батальоны соседей: подполковника Соболева и майора Воронова, – его, Танкаева, личный состав ежедневно нёс потери. Прибывшее из-за Волги пополнение было не обстреляно. Взводные-ротные командиры, что сожжённые спички, сменявшие раненых и убитых предшественников, казались ему зелёными курсантами, толком не нюхавшими пороха, не знавшими, что делать в горячие, ответственные моменты боя. Ему вдруг вспомнился командир взвода лейтенант Сазонов. Рослый, раскормленный любящей мамочкой сын. Со школьной чёлкой, стриженный под полубокс, с растерянными глазами, лоб, нос и пухлые-сдобные щёки лица, обпачканные грязью и пороховой гарью, бурые, как глина, обожжённая на солдатских кострах, – выражало страх и брюзгливое недовольство.

– Товарищ комбат! Товарищ комбат... Беда-а... – по-детски канючил он. – Поспособствуйте!

– ?

– Солдаты ропщут...Слушать меня не хотят!

– ??

– Закалки, сноровки у них не хватает, товарищ комбат...

– А ты кто-о? Командир, мать твою...или торба с дэрмом?

Гдэ личный пример? Гдэ огонь в глазах? Гдэ твой командирский голос! Закалку и опыт пуст набирают в бою! Да и нэ в одной ей дэло! Вах! Штык, как мэч, Сазонов! А мэч, плечом силён. Дошло-о?

– Так точно. А войсковая выручка будет, товарищ майор? – не унимался взводный.

– Должна быть, лейтенант. Ка-ак нэт? Обязательно будет.

– А вы уверены в этом? – глаза Сазонова готовы были выскочить из орбит.

– Уверэн-мерин, Сазонов. Как будем дратца с фрицэм так и будет! Умирай гдэ стоиш-ш!

Но «ни шагу назад!» – слышал такой приказ товарища Сталина!

– Так точно!

– Советские войска уже нэ раз, выдэрживали сильнейшие таранные удары врага! – гремел возмущённый комбат. – Убэждён, лейтенант: выдэржем ещё...и перэйдём в решающее наступление! А тепер-р, кр-ругом, лейтенант! Мар-рш, на свои позиции. И дэржат рубэж до конца!

– Есть держать рубеж до конца.

Между тем тревожиться было о чём. Штурмовая стрелковая группа, усиленная речным десантом, была недостаточно сплочена и слажена. Да и когда этим было заняться? А её всё бросали и бросали вперёд, в одном направлении, и она углублялась в кварталы, не имея надёжных флангов. Всё это мучило и терзало комбата. Он, почём зря, срывал своё раздражение-гнев на ротных командирах, у которых в бою погибли солдаты или попали в плен. Потом жалел, на офицерских оперативках находил способы загладить свои «кавказские срывы». Да на него собственно никто зла не таил. Значили: в бою Танкаев за спины ребят не прятался, своих не бросал!

Зато его в свою очередь костерило и распекало начальство, особенно начштаба полка полковник Криулин.

– Танкаев, тебе что майорские погоны надоело носить?! Я тебя только об одном прошу, будь ты не ладен...Ты не на скачках в своём Дагестане! Держи в узде кипучую кр-ровь! Не бросайся к чёрту на рога...И не попадай всем батальоном в плен!.. Хоть по частям, бес тебя дер-ри...в три присеста...А то на ком мать-перемать, буду зло скрывать?!

...Рядом в крутом изгибе траншеи, что под прямым углом выходила вперёд, укрылись автоматчики-бронбойщики. Не видя комбата, бойко звучали напряжённые голоса.

– Я прежде думал, Семён, наше начальство ни черта не смыслит в России...

– Ой-е! Это ж как тебя понимать, Тимоха?

– Но, похоже, и немчура в ней ни хера не петрит. В смысле, как воевать...

– Да, иди ты! Оно, оне...всю Европу на жопу посадили. Причесали под Гитлера – волосок к волоску. Там у них все народы по одной половице ходят, как шёлковые...Да и нас жмут, как девку.

– В Европе да-а...Они все разложили по полочкам...Да вот для России...видать, полочек нет. Крылата она волей с дремучих времён.

– Это с каких-таких «дремучих времён», Коротков? С царёвых чо ли? Я чой-то в толк никак не возьму, на чью ты мельницу воду льёшь, Тимоха?

– Да ни на чью, дура! Думаю, рассуждаю вслух...Мне, может, и шить-то осталось...на один чих...

– Вот, вот, ты лучше про себя хлопочи, Коротков. Не то старший политрук...Живо бес-толковку твою, как ночной горшок, продырявит, сам знаш...

– А я слыхивал от паромщиков, Сеня, будто Сталин мира запросил. Готов Украину фрицам подарить... А Гитлеру падла... хочет оттяпать земли до Урала.

– Губа не дура, чо ж не до Камчатки? Эко скрестились наши дорожки с грёбаным немцем. Да с ним «родимым» всё ясно. А вот как у нас с провиантом? Ты ж был, ноне на реке, Крупинку за крупинкой гоняем с дубинкой. Да, разве, ты Семён, в другом месте ложкой скребёшь?

Комбат, задетый за живое, особенно насчёт «тов. Сталина», хотел было выяснить, в каком взводе растут такие языки? Как вдруг мир сотрясся до основания – рывкнули батареи тяжёлой немецкой артиллерии. Жуткая сплошная стена разрывов высотой с пожарную каланчу отделила батальон от противника.

– Ложи-ись! Ложи-и-ись!

– Хорони-и-ись!! – со всех сторон летел цепной застуженный лай взводных и старшин.

Новые громовые залпы тяжёлых орудий, косматые столбы разрывов рвали барабанные перепонки, осколки рубили-секли живую плоть. Махровые фонтаны взрывов ковши и лопаты колючей земли заживо хоронили солдат, швыряли в лица тугие шматы жары; повсюду несло взрывчаткой, опалённым мясом и горелой костной мукой... Обезумевшие люди шарахались в окопах, дико оралы, отскакивали в стороны, падали, снова наступали на лица, руки накрывая изуродованными телами горячие влажные лунки разорвавшихся в траншеях мин. Артобстрел засасывал-накрывал бойцов, заворачивал их в огромный вонючий войлок, прожигаемый красными взрывами.

...Танкаев, пробираясь к блиндажу связи, перемахивая через трупы, как и другие был оглушён грохотом гудевших фугасов, рёвом снарядов, видел серо-седой дым разрывов, взлетавшие в небо косматые столбы земли и каменной крошки, пунктированные молнии трассиров, сшивавших края разрушенных зданий.

Окутанный дымом, он, как загнанный зверь, ворвался к связистам. Не обращая внимание на вскочивших, рывкнул в сердцах:

– Какого хрена малчыт наша артиллерия?!

– Товарищ май...

– Немец выкорчёвывает нас с рубежей! Срочно установить связь с пушкарями.

...Вера Тройчук на мгновение оторвалась от радиции, по которой пыталась связаться с командиром противотанковой батареи капитаном Антоновым, бросила через погон:

– Телефонная связь с батареей нарушена...

Ревущий оркестр залпового огня на мгновение заглушил режущий воздух свист... Все поневоле пригнулись ужались кто как... Осколочный снаряд свирепо бухнул в глубине второго этажа, окончательно проломив треснуто бетонное перекрытие, сотряс потолок и толстые двухметровые стены подвала, затуманив его клубами пыли и дыма; следом взмахнул заахались хриплые взрывы, но уже чуть в стороне, давая людям послабку.

– А радиция на кой чёрт! – Магомед щёлкнул оскаленными зубами, как волк.

Она не узнала чёрного от копоты-грязи его озлобленного лица. Не смея вставить лишнее слово, приникла к радиции, вгоняя позывные артиллеристов в её рыхлые трески и шелесты.

– Товарищ комбат, «Астра» на связи... – протянула ему наушники.

– «Астра»! Я «Ветер»... Что случилось, «Астра»? Шквальный огонь фрицев... Зачём нэт прикрытия! Несём большие потери... Приём.

Размазанной металлической кистью, затуманенный шкворчащими щелчками эфира, голос командира батареи докладывал:

– «Ветер», понял тебя... Дважды связывался со штабом полка... «Берег» получил от «Звезды» приказ не стрелять. Приём.

– Иай, шайтан! Почэму? Как нэ стрэлят? «Астра», приём.

– Что? Повтори ещё раз! Нет, не годиться... Так точно. Что бы не выдать наших огневых точек. Огонь только по танкам и пехоте противника.

– Значит поддержки не будет?!

– У меня приказ. Держись, «Ветер». Конец связи.

– Э-э... дэлли мостугай! – Он повертел в пальцах бесполезные наушники, бросил на стол. Медленно повернулся и так же медленно сел на железный стул. На его мужественном орлином лице с высокими медными скулами появилось мучительное выражение отчаянья и затаённой ярости. Вера почувствовала, как на мгновение остановилось её сердце в груди, словно его подрезали острым, и она секунду жила без сердца.

– Что? Что слу-чи-лось, Миша? Товарищ комбат! – неловко поправилась она, краснея ушами.

– Точно не знаю... Из полка сообщают... – Он осёкся, сыграл желваками, в выразительных тёмных глазах больше не было злости-отчаянья. Они вновь таили силу молчаливого воина с повадками дикого зверя, а потому загадочного и опасного. Как обычно, он держал паузу и сам умело держался с огромным достоинством, как это пристало сыну гор.

И вдруг... всё разом обратили внимание – тишина, – артиллерия врага перестала наносить огневые удары. В следующий миг в дверь, будто камнем, бухнули кулаком. В кунг вбежал капитан Кошевенко и ахнул с порога, вздувая на горле жилы:

– Танки-и! Фашист-чёртова сволота пошёл в наступление!

Танкаев пылко стрельнул глазами:

– На каком фланге? – пружинисто поднялся со стула, живо подошёл к перископу. Линзы, точно магнит железо, притянули трёхсотметровую полосу отчуждения. Капитан Кошевенко на беду не ошибся. Сквозь рассеявшиеся дымы были хорошо различимы зловещие очертания выведенных из укрытий танков противника. Их действительно было больше, чем много. За ними, из конца в конец, лепились густые цепи автоматчиков, тут и там сверкали осколками льда очки и каски мотопехоты, что вёртко вырुливали на своих мотоциклах с колясками, на которых мерцали установленные лёгкие пулемёты и другие виды автоматического стрелкового оружия.

– По всему фронту прут, товарищ майор! – повторил капитан. – Видать, Пауль их – главный упырь, решил перемолоть нас на ужин с костями.

Мы с Кучменёвым навскидку насчитали... Только на наших рубежах до семидесяти танков пылят! Мотопехоты, штурмовиков, как блох на собаке, считать замаешься. Эх, як в песне, – Кошевенко, лихорадочно оживившись, мигнул связисткам: – «Знал я и Бога, и чёрта! Был я и Богом, и чёртом!». И вдруг, мелко перебирая ногами, прошёлся по кунгу, сделал чудеснейшее коленце, выбил дробь носком, выбрасывая ноги, вернулся к месту. – О-ох и жаден я до орден, товарищ комбат! А что, японка мать, надерём фрицам жо...

– Отставит! – зрочки Танкаева полыхнули грозным фиолетовым светом. – Хватит порот горячку! Здэс не только мужчины, капитан! – Он отошёл от перископа, подхватил со стула ППШ.

– Виноват, командир. Вспылил. А то б раз «казачка» перед боем урезал. Пардоньте, товарищи женщины! – он прощально щёлкнул ладонями о голенища сапог, закусив углом рта кончик уса. И, опережая Абрека, вытянулся перед ним во фронт:

– Товарищ комбат, разрешите обратиться?

– Ты мне зубы нэ расшатывай, чертогон. Я сам могу, – Танкаев погрозил костистым кулаком, – кому надо, «передовую» в зубах выбит. За мной. На воздухе скажеш-ш, что наболело.

Вышли. Их охватили и закутали в кокон грохоты близкого боя. Зв их сектором справа и слева орудия разных калибров, пушки танков, полковые и батальонные миномёты лязгали-рвкали друг на друга, и в этой канонаде была знакомая гнетущая неподвижность противостояния. Звуки кружили по сторонам перемолоченного бомбами и снарядами пустого, покуда не охваченного боем пространства, где находился с одной стороны сводный батальон Магомеда Танкаева, а с другой танки и штурмовая пехота Отто фон Дитца.

– Твою суку-мать... – не отрываясь от бинокля процедил сквозь щелястые зубы Артём. – Вон они, командир, – он широко очертил рукой горизонт, – ланселоты херовы... В рот им холодные ноги, – остановились! Зачем? Чую опять что-то задумали чёртовы готы... Смекаешь, комбат, что? – Кошевенко под ржавым бинтом вокруг головы, изогнул вопросом опалённую бровь.

– Хо! Гляди-ка, твоя правда, капитан. Остановились псы. Э-э у волка одна пэсня. Наверно, опят предложат: выкинуть бэлый флаг и сложить оружие.

И точно! Комбат, как в воду смотрел. С западной стороны, над угрюмыми руинами полилась, усиленная мощными динамиками, любимая советским народом песня. «Синий платочек» – душевно с игривой нотой пела несравненная Клавдия Шульженко.

Синенький, скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты говорила, что не забудешь

Нежных и ласковых встреч.

Голос любимой певицы нырял вглубь кирпичных руин, слабо трепал, оглашая изнутри обожжённые развалины домов. Потом вдруг узко и жарко прынул вверх, увлекая за собой летучие космы грязных дымов, выбрасывая высоко огненные завитки, стружку и сыпучие ворохи.

...Мрачные лица притихших в оледенелых окопах солдат озарились щемящей тоской о родных радостной болезненной мукой и теплотой блестяли глаза. А вслед за огнём всё стройней, громогласней звучала песня.

Порой ночной

Мы повстречались с тобой...

Белые ночи

Синий платочек –

Милый, желанный, родной!

– Вот гады, знают на какую мозоль надавить... Ровно отпевают нас... живых и здоровых... Ненавижу! – Кошевенко искоса посмотрел на комбата.

– Что, как жеребёц косишься? – Магомед, шевеля ноздрями горбатого носа, по-дружески хлопнул его по плечу. – Гавары, что хотел, джигит.

Ротный криво усмехнулся, мигая щекой и глазом, сплюнул:

– А, может, брякнем сапёрам Лихачёва на трубку? Жиманём фрицев в заводских хоромах, чоб чертям тошно стало? Они курвы мне ещё за Чудское озеро ответят! Ну да, за Ледово побоище.

Магомед Танкаевич улыбнулся в душе пробивной наглости Кошевенко, отрицательно качнул головой:

– «Жиманём», Артом... Но только, когда приказ комдива будет в контратаку идти. Эй, ты, развэ, это хатэл мне доложит? – Танкаев упёрся взглядом в бравого капитана.

– Ну, ты даёшь, товарищ комбат, – восхищённо присвистнул ротный. – Звериное чутьё...

– Командирское, – поправил майор. – Начальник обязан чувствовать настроение своих подчинённых, иначе какой он... командир? Давай, выкладывай, время не ждёт.

Оба нервно глянули в сторону врага. Движения по-прежнему не наблюдалось, но воздух стал плотен, как сыр, наполненный ощутимыми зарядами Зла... От коего, против воли, по спине пробегала сыпкая дрожь и мерзко ныло между зубами.

– Тут вот какое дело, командир, – Кошевенко взглянул на него, едва замечая над головой быстро пролетающих чёрных птиц, которым совершенно не было дела до забот смертных. – Сам видишь, Магомед Танкаевич... Мы тут, наш полк... стянули на себя херову тучу фрицев. Танки, мотопехоту, штурмовиков СС... Словом, дай руку, командир.

Танкаев, не колеблясь, сунул ему свою ороговевшую, изрубцованную с юных лет трудом руку, пожал такую же чёрствую, мозолистую, крепкую пятерню.

Артём некоторое время молчал, поглядывая то назад, где залегла его рота, то на синий от наждачной щетины крутой подбородок комбата, на жёсткую ямку похожую на полумесяц, приходившуюся как раз под серединой нижней губы.

– Ну, если меня или вас, – хрипло картавил он, – чо ж, война, мать её под хвост... всякое может быть... Короче, прощай. Не поминай лихом, комбат. Должно, не свидимся.

– Э-э, что мелеш-ш, дур-рак! – Танкаев сверкая глазами, с волчьим рычанием вырвал руку. Прижал Кошевенко строгим, горячо мерцающим взглядом.

Осыпанный огненным жаром, Артём не двинулся с места.

– Так точно, дурак. Я всё понимать – понимаю, да объяснить не мастак. – Он улыбнулся насилу ясной, простой, ребяческой улыбкой. И странно было видеть её на буром угрюмом лице, будто по каменистому утёсу, посечённому дождями и ветрами, скользнул, взбрызгивая и играя, яркий солнечный зайчик. – Но, знай, комбат, – Кошевенко поднял постаревшее не по годам от войны лицо, и стукнул кулаком себя в грудь. – Я от самых кишок, от всего сердца... ценил, уважал тебя, хоть и бывало... искрило меж нами.

От этих по-фронтовому скупых, но правдивых слов у Магомеда что-то ёкнуло в груди, запершило в горле. Он снял левый рукой, ещё не линялую, новую фуражку, выданную Радченко, взамен прострелянной, шагнул навстречу. Они крепко обнялись, словно прощаясь навсегда, но убеждённый голос с кавказским акцентом был категоричен и неумолим, как дагестанский булат.

– Ты мне эту мистику брос, капитан! Надежду из людей не вытряхивай, как табак из портов! Не вздумай перэд ротой такое брякнуть! Клянусь Небом, на части разберу до винтика. Дратца будэм! Родину защищать! Жить будэм, капитан Кошевенко! Это приказ.

– Есть, товарищ комбат. Да это я так, на всякий пожарный... с кем не бывает?

– Со мной нэ бывает! Дошло-о?

– Точно так. Будем глотки рвать фашистским псам.

– А теперь ср-рочно перэдай по линейке: командиры рот и взводов, пулей ко мне!

Ржавый бинт вокруг головы, под лихо сбитой на затылок фуражкой, мелькнул среди кирпичных развалин и был таков. Грязные льдины-обломки бетонных плит, перекрытий, расколотых лестничных маршей, разбитые кирпичные кладки схваченные пушистой изморозью дышали, журчали, тихо постанывали, клацали затворами, матерились – ждали боя.

...а голос несравненной Шульженко, лёгкий, игривый, с вкрадчивой, доверительной нотой, выводил последний куплет:

Помнишь, при нашей разлуке

Ты принесла мне к реке

С лаской прощальной

Горсть незабудок

В шёлковом синем платке?

И мне не раз

Снились в предутренний час

Кудри в платочке,

Синие искры

Ласковых девичьих глаз...

Он снова поднял бинокль к глазам, как беркут, стерегущий свои границы, всматривался-скользил взором по противной стороне.

В голову в эти звенящие напряжением минуты лезло разное; душу сжимали тиски обречённости, беглая память воскрешала надтреснутые голоса стариков, собиравшихся на годекане:

– Бисмилах... Травой зарастают могилы героев... Но давностью не зарастает боль.

– ...Ветер, зализывает следы ушедших на бой джигитов за свой кров, честь и веру... За-
лижет время и кровавую боль и память тех, кто не дождался родимых и не дожждётся, потому
что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...

– Вот потому, мы никогда не должны забывать о могилах наших отцов!

Помните: все мы стоим на плечах наших предком, смотрим их глазами по-новому на
окружающую жизнь... Живём и растим детей на их могилах. Всегда любите и до последнего
вздоха защищайте с оружием в руках свой край, свою саклю, свой колодец, мельницу, кузницу,
родник. Мясо с кровью, храбрец – с победой. Смелость сохраняет аул... И если мы помним
заветы предков, чтим их вековые адаты и следуем дорогой отцов, – они оживают...

...Зоркий взгляд комбата продолжал парить, пошагово фиксировал любые передвиже-
ния на передовой врага, отмечал: застывшие в нетерпении танки и бронемашинны, серые цепи
карателей. Их автоматы были нацелены на улицы, сады и заборы, развалины и подъезды без-
глазых домов, в которых засели и окопались танкаевцы.

Но если глаза считывали заслоны и группировки врага, память по-прежнему неподот-
чётно выхватывала из былого забытые фрески.

...Вспомнилась вдруг из далёкого детства яркая-горькая метина. Эхо гражданской войны
было жестоко, как никогда... Горные тропы и камни кровью пропитаны... Как-то под вечер в
Ураду приехал на чёрном коне чужак. Весь в дорожной пыли. В черкеске при газырях и бурке,
обвешанный оружием, со страшным громадным маузером в деревянной кобуре. Лицо по самые
глаза закрыто траурным башлыком.

Маленький Магомед помнил: конь остановился у соседской сакли, что лепилась стеной к
стене их дома – Танкаевых. Громкий голос чужака, похожий на сердитый грай ворона, напол-
нил двор, распугал домашнюю птицу. На его призыв выбежали домашние; всадник снял с седла
и передал из рук в руки кожаный хурджин их сына, убитого в горах. Приложил руку к груди,
склонил голову и ускакал.

Весть птицей облетела весь аул. Люди, побросав дела, потянулись к дому осиротевших
одноаульцев. Пошёл передать свои соболезнования и отец Танка...

Но больше другого из этой истории в его детской памяти запечатлелось лицо той несчаст-
ной матери у которой убили сына.

Она билась головой о жёсткую землю, грызла деревянные ступени крыльца от горя... А
потом сидела на земле с пустым обезумевшим лицом, исцарапанным в кровь ногтями и тихо
скулила, выла, как смертельно раненая волчица.

...Он помнил: как она, безутешная, развязав хурджин, перебирала старое бельё сына;
точила горькие скупые слёзы, принималась, но лишь последняя нательная рубаха-хлева, при-
везённая грозным чужаком, по-всему хранила в складках запах сыновьего пота, и припадая к
ней головой, качалась старуха и снова скулила, узорилла полотняную грязную рубаху слезами...

Комбат Танкаев в тяжёлом раздумье отпустил бинокль на грудь, сурово посмотрел на
длинные грязные цепи своих стрелков. К горлу подкатил горький полынный ком... В голове
горячей пулей мелькнула мысль. «Вай-ме! Сколько же любящих матерей... не дождутся после
этой жуткой войны своих сыновей...»

Глава 7

...теперь из немецких динамиков, точно в злую насмешку над отчаянным положением защитников Сталинграда, с ухарским бесшабашным весельем, сыпался поддужным бубенцом залиvistый голос Лидии Руслановой:

Валенки, валенки-и!

Э-эх не подшиты стареньки!..

Комбат Танкаев болезненно близко к сердцу, воспринимал эти психологические «диверсисменты» врага, как личное оскорбление, как ядовитый плевок в душу. В жилах бурлила горская кровь, до ожога хотелось отдать приказ миномётчикам старшего лейтенанта Макарова накрыть и разнести к чёртовой матери этот подлый, кощунственный балаган! Но он давил в себе эти эмоции, неистребимой командирской волей. Потому, как отлично знал: именно на такую нервическую, крайне опасную, деструктивную реакцию людей, загнанных в угол, и рассчитывал вероломный враг.

Этой минутой следовало сконцентрироваться на другом: ободрить и напутствовать своих офицеров. Он по себе усвоил: с отцовским командирским напутствием легче отбивать атаки врага, идти на огонь пулемётов, в штыки...

Танкаев посмотрел на своих взводных и ротных, стоявших у кирпичной стены, освещённых холодным латунным солнцем. На касках и козырьках фуражек стыл хмурый отсвет светила. На стволах автоматов, на пуговицах шинелей, на оптических трубках биноклей был тот же тусклый шафрановый свет. И на одубевших скулах, сжатых губах, заострившихся подбородках. Поймал себя на мысли: сколько ж было уже таких построений-напутствий! И всё новые, новые лица, пришедших на смену убитым. Чуть больше задержал взгляд на двух старлеях морской пехоты: морёные ветром-порохом, кирпичного цвета, жёсткие лица. «Чёрная смерть» в линялых тельняшках, мятых «бесках» с гордо реющими на ветру гвардейскими лентами, с упрямыми складками ртов.

– Почему не в касках? – боднул вопросом комбат.

– Мы ж в морские, нам и так не капает, командир, – с едкой бравадой прозвучал ответ.

– Ракушки значит, ну-ну... Поглядим на вас хвалёных в бою.

– А ты испытай, командир, – с вызовом сказал высокий, плечистый, с крепкой, розовой, как буквый ствол, шеей, с мускулистой грудью молотобойца, выступавшей из растерзанного тельника. Другой ниже ростом, кряжистый, как краб, потёр набитые в драках костяшки грязных кулаков, на которых пестрели старые рубцы-зарубины, краснели два свежих ножевых пореза.

– Немэц вас испытывает, рэбятя. Тепер уж нэдолго ждать. В рукопашке? – комбат кивнул на бордово-чёрные порезы.

– Так точно, товарищ майор. Третьего дня, на грёбаном Мамае... Из нашей роты, – кряжистый старлей стиснул железные челюсти, сипло продолжил, – четверо нас вернулось... Вот, к вам перевели теперь.

– Вас, как зовут, командир? – пробасил высокий, плечистый.

– А меня нэ зовут, нарочито мрачно усмехнулся майор. – Я сам прихожу, когда надо.

Морпехи вместе с другими командирами одобрительно хохотнули.

– Комбат Танкаев, Магомед Танкаевич. – Он подал руку.

– Гвардии старший лейтенант Пилымский!

– А имя?

– Валерий.

– Гвардии старший лейтенант Туровец... Алексей.

Комбат положительно оценил крепость рукопожатий морпехов.

Хотелось верить, что оба останутся в живых. Отобьют атаки фашистов, сами поведут в контратаку своих полосатых чертей, прорубятся, промчатся сквозь кровавый снег короткого дня, чтобы в сумерках, в чернеющем свинце, забыть навсегда об этом латунном, негреющем солнце. Будут у печурок-костров бинтовать ушибы и раны, чистить оружие, устало хлебать из котелков, снисходительно слушать солдатский трёп о бабах; забываться на обгорелых досках и драных щуплых матрасах обморочным тяжёлым сном.

– Вот и познакомились. Добро! А теперь всё подтянулись! – Комбат обжёг шеренгу горячими глазами из-под сведённых воедино бровей, напряг жилистую шею, на которой запружинала длинная сизая вена:

– Товарищи бойцы! Красные командиры! Два года длитца пр-рокая война с фашистским зверём. Два года реками льётца кр-ров рабочих и крестьян всех наций и народов нашего Советского Союза! Сотни тысяч, а может уже миллионы сирот и вдов – вот результаты этой невиданной миром бойни!

Иай! Мы знаем за что воюет наш лютый враг... Чьи интересы, чьи чудовищные замыслы Зла, – он исполняет... Их цель захватит наши зэмли предать поруганию наши святыни... Жэнщин сделает своими подстилками, старых-слабых истребить, здоровых-молодых прэвратить в безмолвных рабов, которые будут дэн и ночь работать на них. Гитлер-шайтан для этого поставил под огонь миллионы своих кровожадных псов, которые нэ щадят ни жэнщин, ни детей. Вот поэтому все мы здесь! – задыхаясь от гнева прорычал он, чёрная вена плясала на бронзовой шее, крылья ноздрей воинственно трепетали. – Да-а, всё нэ просто! Всё рядом: и жизнь... и смэрт. Но помните и держите в сэрдце: мы защищаем Сталинград! Сами понимаете, братья, что этот город значит для каждого советского человека. Клянус, ни один город нэ произноситца с таким благоговением, как город Сталина! Потому осознайте, какая на нас возложена ответственность Ставкой! Сталин – это больше, чем человек и вождь... Сталин это Победа! Сталин это мир!

Что ж, коммунисты погибают пэрвыми, живым продолжать бить фашиста до самого его звэриного логова, до самого полного истрэбления! Да иссякнет их семя, да утонут они в своей поганой собачьей кр-рови! Добро должно ходит по земле. Зло – лежат в ней под гранитной скалой. Поэтому, товарищи командиры!.. – его захлэстывал горячий подъём духа, – Сталинград должэн, обязан стать могилой для этих нэчистивых псов! Донесите всё это до ваших солдат. Пуст нэ думают, что их дом, их малая родына далеко... и здес – нэ их война. Кр-ровь под Смоленском, Москвой, Лэнинградом, здесь, на Волге, – это их война и кровь их родных, гдэ б они не жили. В Сибири, на Кавказе, Урале или Дальнем Востоке!

Он, пламенея душой, прошёлся вдоль строя, вспарывая мысами сапог голубой снег. Становился. Дёрнув впалой щекой, сказал:

– И ещё об одном помните крэпко, товарищи красные командиры. Впэреди жестокий, архиважный, ответственный бой. Возможно, наш послэдний бой... Но именно положительный результат этого боя, будет залогом контрнаступления наших войск! Так будэм достойны прэжних вэликих побед наших отцов и дэдов! Пуст атакуют собаки: добро пожаловат в ад! Вопросы ест? – он пытливо обвёл шеренгу глазами.

– Так точно. Разрешите...

– Слушаю, тебя Замотохин.

Вперёд шагнул с хитроватым, рябым лицом взводный 4-й роты.

– Немца, как грязи понабилось на передке, товарищ майор. Ей-ей, как крапивы за баней...

– Вот и коси их пулями, Замотохин, – послышался за спиной тихий картавый голос. – С фронта прикандыбаешь на побывку домой, глядь бабе под юбку... А там тоже на передке – бери косу да коси бурьян. Тяжело в ученье, легко в бою.

В строю гоготнули шутке ёрника и стар, и млад.

– Разговорчики, Кошевенко! – строго одрнул Танкаев, взгляд на взводного. – Короче, Замотохин! Верёвка хороша длинная, речь – короткой.

– Я к тому, товарищ комбат... Мы то не дрогнем, а помощь-то будет? – он смущённо и озлобленно улыбаясь, переминался с ноги на ногу.

– Будэт, Замотохин.

– А сколько?

– Сколько рэшит штаб дивизии, или штаб армии.

– А когда? Неровен час сомнёт и раскатает в лепёшку нас фриц...

– Ты, что издыватца вздумал? Или тупой такой? Замотал ты меня, Замотохин: «будэт – не будэт», «когда – никогда»! Что ты прылип, как обопрэвший рэпей к гриве? Откуда мне знать? – Танкаев опалил его полымём чёрных глаз.

Сам знаеш-ш! Фронт переправу войск через Волгу, каждую ночь ждёт. Но фашист-собака... по-прэжнему дэржит господство в небе. Потому расчёт – лишь на рэзерв, а его меньше, чем мозгов у барана. Тебя что-о? Жарэный петух... клянул, Замотохин? Прэступно не убедившись... бить в набат! Встать в строй. Ещё вопросы?

– Молчание было ответом.

– Итак! – Танкаев чеканил каждое слово. – Гранаты, патроны бэреч, как жену-дочерей от соседа! Бить насмэрт, наверняка. Крэпко держать подо лбом: можно потерять любовь, но не чэсть! Можно забыт любовницу, но не Родину! И на нашем участке, чтоб птыца не пролетела, которую я не знаю. Вот такая картына маслом. Поставленная задача ясна, товарищи командиры?

– Так точно. Будем рвать глотки фрицам!

– Клянёмся стоять до конца.

– Э-эх, зацелуем фрица в жарких объятых до смерти.

– По места-ам!

Впереди, через ямины и воронки, солдатами были настелены сколоченные деревянные щиты, сорванные с петель подъездные двери, чтоб не сломать ноги. В ушах загрохотал дробный текущий треск каблуков, будто горели сосновые плахи. В эти, последние перед боем минуты, он особо смотрел-проводил взглядом, исчезающих за отколотым углом здания офицером, охраняя из своим тревожным, похожим на отеческую заботу, чувством.

Оставшись один, поднырнул под ячеистый полог маскировочной сетки; со скрытым беспокоейством вновь приставил бинокль к глазам, медленно заскользил по обманчиво молчавшим руинам, скоплениям немецких солдат и стянутой на плацдарм технике...

* * *

...Покуда немцы гоняли советские трофейные пластинки, Черёма сидел в траншее на корточках, положив на колени ППШ, и казался печальным. Санько Куц, пряча в кулак, драгоценный окуроч, смаковал последние затяжки сигарки. Старший сержант Нурмухамедов ловко, что карточный игрок, крутил-вертел в пальцах и так, и сяк яркую солнечную винтовочную гильзу, покусывал губы, ровно пытался выговорить крепкое, неудобное для произношения матерное словцо. Рядом, опёрся локтем на станину «максимки» Григорич в подаренной комбатом прострелянной командирской фуражке. Увешанный пулемётными лентами, как веригами, с невозмутимым видом бывалого воина, в этот момент он, как две капли воды, был похож на легендарного толстяка Тартарена из Тараскона. Поглядывая в сторону врага, слушали весёлых танкистов, покинувших душную Т-34-ку. Те так же, тайком от начальства, смолили в кулак сигарки, перебрасывались с пехотой шутками и непрстойно лясничали о бабах.

Взводные, ротные командиры, случалось даже некоторые политруки, с понимаем относились к сему непотребству.

«Это ж, от нервов, – объясняли они непонятливым, настороженными взорами проверяющим партработникам. – Ишь, как трусит молодых, не обстрелянных. Им через полчаса в атаку

под пулемёты идти... Жив будет, мёртв... тот или тот сынок... пойдя, у безносой спроси... Он может и бабу-то голую никогда не видел, не шупал... А вы говорите, товарищ полковой комиссар, «моральное разложение»... А дисциплина в бою и на марше – есть! В лучшем виде, на высоте! Да ну, никак нет. Да как же, без неё родимой? Оно понятно, первым делом... Вы, разве, сами не видите, с того берега, как мы тут фрица встречаем? Костями ложимся. Не многие на правый берег вернулись, да и те: кто ногу потерял, кто руку... А мёртвые, известно, сраму не имеют. Так и передайте, товарищу генералу Чуйкову: 100-я дивизия не отступит. Пока Сталинград жив, никто не покорится врагу».

Так, большинством разумели и офицеры в батальоне Танкаева. Эти «срамные байки», в забрызганном дерьмом, мозгами, кровью окопе... Или разгромленном, отвоёванном доме, имели, пожалуй, смысл заклинания. Наивно? Цинично? Возможно. Но война, смерть, тлен – розами никогда не пахли. А суеверия от веку жили без перевода во все времена, во всех армиях мира. Этот «окопный срам», если угодно, был проявлением молодой, пульсирующей, желающей жить и уцелеть плоти, страшашейся, как всё живое, рваного осколка, раскалённой пули, операционной пилы, скальпеля. Дикие, свирепые, грязные, солёные, разудалые слова отделяли живых от мёртвых. Горячих, дышащих, поющих – от заледенелых и скрюченных на пропитанных кровью и гноем носилках, от задавленных бетонными перекрытиями, от обессиленных и обезвоженных – заживо обглоданных собаками, крысами, костенеющих в гнилых подвалах. Солдаты-матросы погружались в эти плотские, парные слова, спасались в них от чёрной, веющей за окнами смерти.

– ...на фронте завсегда так, мужики, – сально посмеивался, сероглазый, вихрастый механик-водитель Редькин. – Солдат смотрит на кирпич, а думает о чём, пехота? – Он по-свойски подмигнул Черёмушкину. – Не горюй, сапог, ну!

– О доме, – растянул в улыбке обветренные губы стрелок, чья тонкая, грязная, ещё подростковая шея вытягивалась из расстёгнутого ворота шинели, и пальцы с обломанными ногтями, чёрные от царапин и оружейного масла наглаживали рыжий приклад.

– Недолёт, паря! – нервно хихикал танкист, тряс руками, крутил головой, толкал в плечо заряжающего. – Ну, думай голова два уха!

– О родных? О мамке, с батей!

– Эко куда хватил! – присвистнул третий, с обожжённой половиной лица танкист-наводчик. – Перелёт, малый. – Наводчик Петрухин делал страшные хохочущие страшные рожи. Скалил зубы, колотил себя по низу живота, делал непристойные телодвижения, стараясь навести на мысль недогадливого бойца.

– О бабьей кунке... – морща в снисходительной улыбке нос, помог молодому бойцу Нурмухамедов.

– Вот это в цель! Молодца, сержант! – ратно гоготнули танкисты. О ней, желанной...

– Чо ж, немец-то не стреляет? – знобливо озадачился Буренков. – Опять задумал что, паразитина! Эх, нам бы сюда батарею другую «катюш», – мечтательно протянул он. – От «катюш» у фрицев... от жути мозги откатываются, только шерсть рыжая летит!

– А, ты, айда – до связистов сбегай. Запроси Генштаб, Григорич. Может, они потушат твои пожары сомнений. А то, гляди, бабу тебе в золотинке с почтарём отправят.

– Да, ну ты, честное слово, – Буренков безнадёжно махнул рукой в сторону земляка-уральяца. – Опять поскакали жабы из твоего рта. Бабы, бабы... Жениться тебе пора, Марат Суфьяныч, коли женилка выросла.

– А я служу – не тужу. «Конь есть, сабля есть – враги будут», – говорит наш комбат. – Успеется, Григорич.

– Да, всё перепутала... сука война... – с досадой взвизгнул Буренков.

– Не бойсь, дядя. Война наука хорошая. Она и раздевает, и одевает, будьте любезны, – старший сержант с уважением кивнул на танкаевскую фуражку и передразнил Буренкова:

«Гляжу, товарищ комбат, вражина ползёт. А мы туточки!» Умеешь, ты вовремя дров подкинуть, Бурёнков. Да ладно, ладно, не гоношись, – Марат высоко подбросил гильзу, сверкнувшую, как золотая блесна, ловко поймал, сунул в бездонный карман галифе. – Вот кончиться война, всё будет ясно. Всему есть конец, мм? Придёшь гулять на мою свадьбу земляк.

– Пригласишь, так что ж не прийти! В Меседе народ хлебом не корми, дай погулять. На свадьбе две гармошки порвут, к попу не ходи.

– Санько! – кликнул Куца Суфьяныч.

– Ау!

– Поделись табачком.

– Да шо ж ты, домоталси до мэни? Я говорил: ни ма...

– Во-от ты куркуль, хохол! Хитрый и жадный... Вечно у тебя для товарищей шиш в кармане. Цыц, коль «нима», щас наболтаешь мне тут сорок бочек арестанцев...

– А у нас во дворе... – нежданно проклянулся голос Черёмы. – Вдова молодая жила. Ну, старше, конечно, меня... лет на десять. Мужа у неё белофины убили.

– И чо? – усмехнулся танкист Петрухин. – Она дала тебе?

– Кто?

– Конь в пальто! Вдова твоя, ёлки-палки...

В траншее заготовали, как жеребцы.

– Она многим «давала», – смущённо ответил Черёма. – Нет, она не гуляющая... Просто голодно им живётся... и добрая она...

– На передок, ага? – танкисты опять схватились за животы, стонали, ахали, колотили себя по ляжкам и голенищам сапог.

– Да многим, – повторил Черёмушкин, не обращая внимания на колкости и рогатки... Не за так, конечно. Кто трёшку даст, кто десяток яиц и буханку хлеба принесёт. Кто ведро картошки или консервы по случаю, кто сала, кто два кило крупы... голодно жить, а у неё трое детей. Все малолетки...

– Е-моё! Так женился б на ей... Коль она так хороша, Черёма?

Но он промолчал, погрузившись в себя. Память его унесла в далёкое подмосковье. Он счастливо вспомнил, как с дружками покупал в лавке пиво, как сидя у библиотеки, медленно, с наслаждением, они сосали из горла вкусную, ядрёную горечь, наблюдали за влюблёнными парочками, просто прохожими, дрались с заречными, разнозаводскими заклятыми врагами, трепались о всякой всячине, гоняли в футбол до потёмок, строили планы не будущее. А потом, дождавшись намеченного дня и часа, захватив в доме что-нибудь из жратвы, заранее собранное, он тайком от всех, прокрадывался, как вор, к добродушной вдове Наташке. Минуту спящих детей, проходили в её комнату, увешанную занавесочками из дешёвого весёлого в синий горошек ситчика; падал в её жаркую постель, где Наташка, смешливая, бойкая, с большими по козы разведёнными грудями, целовала-миловала его бесстыже и жарко.

Память цепко держала детали... На прикроватной этажерке, горела в гранёном с трещиной стакане оплывшая свеча. Узкий лепесток пламени освещал тесную комнатушку, рисовал на стенах и потолке дроглые, шуплые тени.

...она наклонилась, и он, чувствуя её тёплый женский аромат подмышек, рассыпанных по лицу волос, видя, как колышется под тонкой тканью тяжёлая грудь, потянул за розовый пояс. Халат распался, будто растаял, сотканный из цветного воздуха, и она предстала перед ним, золотистая, нежно-розовая, с соломенными рассыпанными волосами, близким дышащим животом...

Черёма, оторвавшись от воспоминаний, привстал размять затёкшие ноги, выглянули из окопа, на пол-лица.

– Ну ты! Боль в обмороке?! Куда полз! – Нурмухамедов живо выудил из кармана гильзу, коя звонко брякнула о каску бойца. – Назад, не дёргайся, считай, что это пуля снайпера.

– ...ну ты загнул, брат! С какого рожна взял, что в танке у нас, как у Христа за пазухой? – фыркнул Петрухин. Ты хоть раз горел в этом гробу? А я – да! Вишь, тавро? В гроб краше кладут. – Он приблизил у Бурёнку жутко обезображенную половину своего лица, похожую на пористую пиццу запёкшуюся до хрустящей, буро-красной коросты. Летом ещё полбеда, хотя в полуденной зной, когда броня накалится, как сковорода, жара, что в пекле, пот в три ручья...

Робу хоть выжимай... Словом душегубка, мать её в гарнизон... Зимой полный капец – тундра! Покуда двигатель не заведёшь, нутря не прогреешь, околеешь в железной будке. Ты ж, из деревни родак, верно? Знаешь, все удобства на улице. Зимой выйдешь во двор – колотун, темнотища, хоть глаз выколи, а вроде, утре. Добежишь до нужника, зуб на зуб не попадает. Расшаперишься над очком... из него ледяной могилой тянет... Холод задницу с ляжками обжигает – жуть. Вот и все удобства. Танк, конечно, штука хорошая, грозная, но...

– Эй, хорош тень на плетень наводит, чтоб мы без этих ласточек делали? – Редькин погрозил кулаком собрату по экипажу. – Кто бы пехтуру в атаках поддерживал, кто бы заслоны врага прошибал? Ты гляди, Петрухин, не позорь честь танкиста. О нашей Т-34-ке ещё песни, легенды сложат! А ты «очко», «ледяной могилой тянет», сам ты «нужник»...

– Ой-е! В рот меня чих-пых! Нашли о чём вспоминать. То, что было на гражданке забудь солдат, то поле лебедой поросло, товарищи вы мои... Как в том анекдоте: не тебе её качать, ни тебе и думать! – весёлый неунывающий Казаков Серёга, стрелок из 2-й роты, щедро угостил всех желающих махоркой.

– Ты б себе хоть оставил, Сергунёк, – заботливо хрюкнул Бурёнков. – Небось сам опосля попросишь, хрен дадут.

– А я себе два века не намерил, Григорич. Нынче жив и то хорошо. Дыши, радуйся! Ха-а! До завтра ещё дожить надо. Тю! Чих-пых меня в спину... Что ж гансы нам пластинки крутят? Курвы, опять что-то мутят...

– Ваши батарейцы хорошо окапались?

– По ноздри, Суфьяныч, по самое не хочу, – улыбаясь смазливый усатым лицом, он хрустнул мослаками пальцев. – Абрек был у вас.

– Был.

– Лютовал?

– Ну так, как положено. Вставил пару клизм. Наши окопались хреново. Аварец – одно слово.

– Да, вопросы крови не предсказуемы... Особенно на Кавказе. А чо хоть было-то?

– Да ротного нашего построил, как пацана. «Почему говорит, мать-перемать, окопались только на полколеса?» Синицын ему: «Земля – камень, товарищ майор. Кайло отлетает, заступ сломали...» «Людей положить рэшил?» «Никак нет! Постараемся, товарищ комбат!»

– А он? – Казак прищурил яркие глаза.

– Постараются школьники, чэтвэрт закончить без троек. А ты, Синицын, обязан выполнить приказ!

– Так точно. Костьми лягу...

– Да не ляжешь, а сядиш-ш, если не справишься. В штрафбат сизым голубем полетиш-ш. Дошло-о?

– Так точно.

Суфьяныч ослабил ремешок каски, взгляделся в корявый орнамент искорёженных деревьев за которыми проглядывали очертания немецких танков и серые цепи солдат.

– Вот и весь сказ. Хм, молчат фрицы. Почему не стреляют? На «псих» берут, как думаешь? – нерешительно сказал Марат, опуская на грудь бинокль и морщась, как от зубной боли.

– Насрать. Хуже уже не будет, в ухо меня чих-пых. На смерть как и на солнце, во все глаза не глянешь. Чему быть тому не миновать. Как там у вас: на всё воля Аллаха. Э-эх, шас бы накатить, чтоб нервы отпустило.

- Хорошо бы, да где взять? Наркомовских то... – Суфьяныч развёл руками.
- «Пьянство це добровольное сумашествие» – даве гутарил Абрек, – удручённо хмыкнул

Куц.

- А вот тут, хоть убей, не прав он! Не пр-рав! – взвился соколом Казак.
- Да це тильки не он балакал, хлопци.
- А кто?
- Аристопель якой-то...ни то грек, ни то жид...бис его маму знает?
- Скорей порхатый, – со знанием подвёл черту Марат, и добавил сдержанно-злобно. –

Эти всех учат со времён сотворения мира. Вот потому немец и не терпит их больше других. Видно, не зря говорят: «Смел и удачлив орёл в небе. Труслив и лжив, голоден, злобен и тощ на земле жид».

Глава 8

– О-о-ба-наа! Вот картина! Чих-пых меня в глаз... Не идёт, а пишет! – Казаков даже чутка привстал, что бы лучше разглядеть статную санитарку, быстро идущую впереди носилок. Ветер трепал на ней юбку, перебирал на белой шее мелкие пушистые завитки; под новой цигейковой ушанкой виден был тяжёлый шёлковый волос, схваченный чёрной атласной лентой. Ушитая гимнастёрка, стянутая в поясе армейским ремнём, не морщинась, охватывала крутую спину, налитые плечи со старшинскими погонами и пышную, высокую грудь. Поднимаясь вместе с группой бойцов-санитаров в горку, она клонилась вперёд, ясно вылегала под гимнастёркой продольная ложбинка на спине.

Казаков известный в полку бабник, кобель-перехватчик, не отрываясь следил за нею; видел белёдые разводы слинялой подмышками от пота гимнастёрки, жадно провожал глазами каждое движение. Было видно: ему до крапивного зуда хотелось с нею познакомиться, заговорить, заглянуть в глаза.

– Что за диво! Почему не знаю? В рот меня чих-пых... Ишь ты и сапожки на ножках хромовые! Чья такая? Кто с ней цацкается?

– Хорош глазеть, шею свернёшь... Гляделки твои бесстыжие.

– Эт-то ещё почему? – Сергунок браво закрутил чёрный гусарский ус.

– Мой тебе совет Казак: сиди на жопе ровно. Тебе за неё вложат ума...

– И кто же? – дерзко глядя в глаза, усмехнулся Сергей.

– Зам по тылу, капитан Радченко. Это он привёз её недавно с правого берега. Жизнь не тёплая остобыдла... Привык сытик с комфортом жить. Быт-то нам по домам к бабам не охота. Да уж, кому война, а кому мать родна. Он сволота и за Родину «воюет-то» с удобствами...

– Да уж, с «удобствами», – Сергунок до последнего обмасливал её взглядом. А та, будто чувствовала: покачивала своей прелестной грудью, как маятником, вызывая подрагивая бёдрами, рысила в полевой лазарет, улыбаясь взводам поочередно, товарищам офицерам в отдельности. – «Вот, ведь, стерва... в бровь меня чих-пых...» – криво усмехнулся Казак.

– Даже не рыпайся, не твоя перина. Радченко стережёт её пуце глаза. Она вроде его ППШ. Он хоть и тыловая крыса и с животом, как тот ранец, зато с такими связями... – Суфьяныч закатил глаза. – Уф, спаси Аллах... Короче размажет, если что, дерьма от тебя не останется. Ферштейн, камерад?

– Учту. Данке шён за совет. Конь на четырёх ногах и то спотыкается. Но, как хоть звать – то её.

– Тамара.

– Ох, ты-ы... – Казак весело присвистнул это не про неё? Он сделал вид, будто у него в руках двухрядка и растянул меха:

Бежит по полю санитарка – звать Тамарка,

Давай. Тебя перевяжу... Сикусь-накусь-выкуси!

И в санитарную машину, ёксель-моксель, С собою рядом положу...

– Ну дела, – Серёга скрутил сигарку, пыхнул дымком, – у этого пузатого жука Радченко, поди, в каждом городе по такой королевне есть.

– Не дрейф... и тебе повезёт, – затягиваясь переданной сигаркой, успокоил Марат.

– Откуда? Везенье-то прикатит? В деревнях по три калеки осталось и те нарасхват.

– Вот и я за то! Наш брат теперь на вес золота! В почёте.

– Да уж. Только в нашем положении о юбках и мечтать. Во-он, какие тут у нас пейзажи: небо в огне, солдат в дерьме, земля в пепле. Здесь только влюбляться.

– Не скажи-и! – приподнятым голосом возразил Суфьяныч, прищурил рысьи глаза. – Третьего дня батяня-комбат отправил меня с бойцами на пристань груз встретить. Ну прибыли,

значит... Вокруг жуть, чёрт ногу сломит... На пристани – хрен ночевал... над Волгой юнкерсы-мессеры коршунычьими стаями кружат. Вода кипит от их бомб, из-за стены воды другой берег не виден. Ну ждём, значит, укрылись получше, мало ли что... Груз больно ценный ждали!

– Ну и? – Казаков нетерпеливо ёрзнул задом на ящике.

– Вдруг слышим рядом, прикинь: в проломе за стеной, на этаж ниже – жизнь, кто-то стонет... Мы, понятно, метнулись на выручку, автоматы наперевес... Добежали, припали к щели и мгновенно опьянели от тепла. Помню, пахло жильём: углями, керосином, старым тряпьём, полушубками, войлоком. Наконец глаза привыкли к темноте, а там! Ба... твою мать в гарнизон!... Суфьяныч звонко хлопнул в ладоши. – кровать здоровенная посреди подвала, с матрасами и подушками... Баба голая – ноги к потолку задраны, на ней мореман меж ляжек... в одном тельнике с голой жопой. Туда – сюда понужает, как паровой поршень...

– Вот это да-а! – восторженно гоготнул Сергунок. – чо?

– Тут передых у них случился. Видать, отстрелялся морской.

Мы притаились, зачем мешать песне? Слушаем – шёпот горячий.

– Кровать подлюка скрипит... весь берег услышит!

– Нехай завидуют. А, может, у нас военно-полевой роман, матросик?

– Цыц, дура, какой роман? Перепихнулись и хорош. Вся любовь и сиськи набок.

– Да ладно тарыхеть. Ой, ой ногу свело... Да погодь, ты матросик-барбосик, пуговка-сучка не расстёгивается!

– Тише ты, сирена! Ну, готова?

– Служу Советскому Союзу!

И тут они опять дали жару, только в шубу заворачивай... Он потом и говорит ей: так мол и так, благодарю за рвение. Молодец девка с понятием. Мужик без бабы, как солдат без винтовки.

Суфьяныч помолчал, добивая сигарку, бросил её под сапог.

– А потом они встали... срам прикрыть, значит...

– Хороша была девка? Корпусная? С дойками, как положено?

– Ну, ты кобель...

– Так как? – глаза Казака горели, рот был чуть приоткрыт, переполненный похотью пах напряжённо пульсировал.

– Баба, как баба? В полутьме молодой, свежей казалась. Знаешь, ведь? В темноте все кошки серые. Хотя помню, цвет лица был, как не живой... Шибко белый с румянами. И губы такие, ровно она, вот только свёклу ела, усёк?

– Шлюха, что ли? – Серёга вскинул подвижные чёрные брови.

– Точно так. Он ей банку тушёнки на стол поставил и треть буханки ржаного сверху..

Ещё спросил на последок:

Мужиков то много?

– Сегодня, ты первый.

– А вчера?

– Один старлей... и два солдатики прибежали. Жив будешь, приходи барбосик ещё. Спирт принеси. Соль, спички, хлеб. Я тут всегда, на посту. Ты – мне, я – тебе... Глядишь и выживем в этом аду!

– Нет, груз мы не получили. Фашист опять паром разбомбил. Одни бушлаты, как пельмени в кипящей воде.

Серёга Казаков хотел что-т ещё выяснить... Как вдруг патефонная игла, словно по живому, вжикнула по пластинке, песня оборвалась на полуслове... И следующую секунду по развалинам, по грудам кирпича и бетона, сквозь путанные сети колючей проволоки, над ржавыми обрубками противотанковых ежей из динамиков полетел громкий грассирующий голос на ломаном русском языке:

– Русиш залдатэн унд официрэн – сдавайтесь!

Вы окружены германский непобедимый армия. Ваше сопротивление бесполезно. Зачем проливай ненужный кровь? Будьте благоразумны! Немецкий командование гарантирует вам жизнь, медицинская помощь, горячий еда и добрый отношение.

Русиш залден, убивай свой фанатик-командирэн унд комиссарен! Бросай оружие – выходи. У вас есть 15 минут. Все, кто не выполнять приказ германский командование – будут уничтожены!

* * *

...Угрозы противника надрывно повторялись, как колдовское заклятие, но танкаевская линия обороны молчала. Никто не шелохнулся, не подал голоса.

«Спасибо, ребята. Баркалла, джигиты! Другого от вас и не ожидал, – комбат Танкаев мысленно говорил со своими бойцами и командирами. Следил за активностью врага, снова и снова цепко осматривал подозрительные места в поисках диверсантов-штурмовиков, хитронырых сапёров.

...нацелил бинокль в прогал заводской бетонной стены. Приблизил сплюсненную танком пушку, сгоревшую самоходку с развороченным бортом. Задранной пятнистой кормой; возле неё припорошенные снегом бугрились трупы обгоревших немецких танкистов. Задержал взгляд на красно-бордовых, заветренных ошмётках мёртвого мяса... Рядом, точно из полыньи, торчало оледенелое выпуклое плечо с татуировкой немецкого орла Третьего Рейха, полуобнажённый, с выпученными глазами и ощеренным ртом череп, в который злобно вгрызались мокрые собачьи клыки. Одичалые псы умиравшего города, дышали паром, вываливали розовые, слюнявые языки, яро рычали. Майор видел их мускулистые с чёрными когтями лапы, сытые откормленные на человечине загрывки. Косматый пёс, дыбя на хребте шерсть, упираясь крепкими лапами в грудь танкиста, сгрызал с его лица губы, жадно сглатывал нос, хрящеватые уши и задубелую мякоть щёк... Другой пёс, крутя мохнатой шеей, объедал руку, рвал с треском синерозовые сухожилия. На запястье офицера желтели часы. Рука скакала и дёргалась, доводила пса до исступления. Тот был клыками по заиндедевшему лицу. Зубы мертвеца и собаки стлкнувались, гремели. Казалось, они грызлись, и мертвец, защищаясь от зверя, лязгает и хрипит..

Присутствие собак, их безбоязненное поведение, давало сделать резонное заключение: поблизости людей нет. Он перевёл бинокль влево, пробежался по дворам, по нетоптаному сверкавшему снегу, заглядывая во дворы разгромленных одноэтажных домов. Каждый был поражён снарядом, бомбой или струёй огнемёта, выгорел изнутри. Из расколотых окон и сорванных дверей свисали обгорелые одеяла, прожжённые ковры, дырявые простыни, словно кто-то проснулся в ночи, пытался выпрыгнуть из горящего дома, оставил следы своего бегства и гибели.

– Русиш залдатэн сдавайтесь! Вы окружены... Бросай оружие – выходи. Не бойся! У вас осталось 10 минут.

Закалённый войной, бесконечными боями, комбат Танкаев оставался бесстрастен к унижениям врага. Удивляло другое: он ловил себя в эти минуты на том, будто всего, что происходило вокруг, не случилось. Словно это ужасный сон, в коем воплотились людские страхи, предчувствия, гнетущее ожидание беды, подспудно живущее и в нём, когда по несколько раз на день он порывался связаться с полком, узнать, как проходят боевые действие, что опасения его батальона напрасны. И можно проснуться, с облегчением увидеть, что он находится в блиндаже, на столе закопчённый чайник с кипятком, рядом Вера читает письмо из дома, на стене до боли знакомая карта Сталинграда, где на пересечении центральных улиц, недалеко от его позиций, воюет батальон побратима майора Воронова, а там на левом фланге – держатся заслоны пехоты подполковника Соболева. Но сон не прерывался. Ветер из разбитых стен ерошил волосы бойцов, ожидавших жестокого штурма. Измученные санитары продолжали выно-

сильно тяжело раненных из окопов, кровавые бинты пестрели тут и там. И он с горькой тоской убеждался, – это суровая явь.

...Секунды отсчитывали последние минуты, но память упрямо, как в перевернутый бинокль, уносила его вместе с птицами вдаль, к далёким заснеженным пикам Кавказа. В Дагестан, в Гидатль, в любимую Ураду. Он ни на день не забывал о родном ущелье. Чувствовал Ураду, как живой организм. Слышал, как спит родовая сакля, как дышит родной аул, как дышат люди Урады, с каким почтением совершают намаз.

...Минуты истекали, как вода сквозь пальцы, а он, обернувшись беркутом, продолжал парить над скалистыми горами, слышал гордый клёкот братьев орлов, мудрость стариков на годекане. Видел застывшие тени на склонах гор от розовых облаков, пёстрые табуны лошадей, снежные отары овец. Стройных черноколых девушек в долгополых платьях, что танцевали на зелёной траве... Видел и старика в папахе с родным забытым лицом... Как обычно он сидел на волчьей шкуре, на том же камне, оперевшись на глянцевитый посох, как прежде смотрел на далёкую цепь красных гор, и морщины его были красно-медные от низкого солнца.

...Орёл-Магомед продолжал находиться на уступе, ухватив полумесяцами железных когтей скальный край. Вытянув вперёд, чуть склонив на бок орлиную голову с большим отточенным клювом, он смотрел с уступа отца и вспоминал разговоры мужчин, которые велись в кунацкой отца.

Помни: в семье всегда очень гордились своими предками; говорят, что прежде, во времена Белого Царя, и ещё раньше – все они были мужественными-сильными людьми, настоящими воинами-гази.

В кунацкой отца часто заходили разговоры об истории Дагестана, о великом Имаме Шамиле, о славном Гидатле и его героях – о легендарном земляке Хочбаре, об Ураде, которая находится высоко в горах, в самом центре Гидатлинской долины.

Седобородые мудрецы говорили: взаимозависимая и дружная жизнь семи селений Гидатля на протяжении веков выковала Гидатлинское общество жизнеспособным, абсолютно независимым и самостоятельным.

Гидатль никогда не был в подданстве ни Хунзахского, Аварского ханства. Свидетельство тому героико-эпическая поэма о знаменитом Хочбаре, – рассказанная очевидцами и написанная арабскими и дагестанскими учёными.

Главным идеологом освободительной борьбы горцев Дагестана, в результате которой был разгромлен в горах Аваристана покоритель вселенной Надир-шах, был знаменитый Ибрагим-Хаджи аль-Гидатли аль-Дагестани. По его призыву горцы Дагестана поднялись на борьбу против покорителя Индии, Передней и Средней Азии шаха Надира, сорвали его план на Россию, с позором изгнали из Дагестана, тем самым ускорили падение военного могущества Ирана и развеяли миф о непобедимости его шаха.

С раннего детства сыновья Танка усвоили: в героическом прошлом Гидатля живёт его неистребимый непокорённый дух, вечный зов предков, кои легко расставались с жизнью во имя чести и свободы.

Усвоили сыновья Танка и другое: их сельчане – народ не только отважный и смелый, но и добродушный, весёлый, щедрый, гостеприимный. Чего здесь только не увидишь и не услышишь: пение птиц, крик петуха, плач ребёнка, клёкот орла, ржание и топот быстроногих табунов, неутомимый звон кузниц, рёв буйволов возвращающихся с пастбищ, блеяние баранты, людской смех, шутки и песни... Но одна песня всегда для Гидатлинской долины была главной. Это песня о Хочбаре. Её пели самые знаменитые певцы, её передавали из уст в уста, из поколения в поколение. И до сих пор Гидатлинцы свято чтут своего легендарного земляка, своего Робин Гуда. Хо! Кто из мальчишек Урады и других аулов не представлял себя Хочбаром??

...В далёком детстве и Магомед часто представлял, что не Хочбар, а он сам мчится на коне с ружьём, по горным тропам, по отвесным скалам, переправляется через бурливые горные

реки, нападает, как сокол, громит, забирает награбленное у богатеев и раздаёт всё радостным беднякам; будто сам он бьётся насмерть с нукерами коварного Нуцала, без страха едет к нему, вступает с ним в роковой спор, а потом, схватив его сыновей, бросается в огонь...

Уо-о!! Прошло столько лет, но песня о Хочбаре до сих пор в его сердце – в ней и удаль народного героя, и свободолюбие гидатлинцев, и мучительная тревога за родной край.

...Сам Танка сын мюршида Гобзало, как и его предки, был человеком свободным, смелым, трудолюбивым – достойным примером для своих детей. Несмотря на свой высокий рост и силу, он никого не обижал, но и никому не позволял задевать своих близких. Более того, он никогда не кичился ни своими предками, ни силой.

В ушах сыновей навсегда остались звучать его твёрдые слова: «Настоящий мужчина сам должен решать свои проблемы». Отец до последних дней оставался негибимым горцем и большим тружеником. Как и у других зажиточных крепких горских семей, у него были хутора, где он почти круглый год содержал скот. Летом часто, забрав сыновей с собою, находился на альпийских пастбищах, а весной-осенью ему приходилось заниматься земледельческими работами-пахотой, посевами, молотью. Монотонный, тяжёлый физический труд, но важный, а более необходимый для содержания большой семьи и помощи нуждающимся родственникам. Как иначе?..

В Ураде у него построен просторный двухэтажный дом. Танка очень любил своих детей: дочек и сыновей. Последних в особенности. Любил всех одинаково, но в тайниках души, чуть больше других, выделял среднего Магомед, за поразительное трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели. Удивляли его усидчивость за уроками, неистовое рвение в спортивных состязаниях на гидатлинском ристалище, быстрота ума и невероятная память!

...Магомед хорошо помнил, как однажды отец позвал его в кунацкую, где сидели уважаемые гости, положил ему на голову, тяжёлую, как медвежья лапа, руку и, подняв пенный ребристый рог тура, при всех сказал: «Уверен, из него выкуется настоящий мужчина. Человек. Воин.»

Горцы никогда не баловали своих сыновей. Но в этот раз после сказанных слов, отец оказал небывалую честь для сорванца-сына, – усадил рядом и позволил разделить вместе с ними, взрослыми мужчинами, праздничную трапезу.

Суровая жизнь горцев Кавказа столетиями выковывала сильные, крепкие характеры, закаляла их в огне и крови бесконечных войн, вычеканила и суровые нравы-обычаи.

Что же до отваги, силы и сноровки Танка, равно и о его отце – мюршиде Гобзало, – в Гидатле ходило немало ярких историй. Чего только стоят его необычайные, полные риска и смертельной опасности, приключения в Грузии!...

Старый Танка, сидевший на камне, точно почувствовал взгляд сына, стал оборачиваться, когда чужой голос из динамиков, лающий – властный, сорвал с уступа орла, разбил опаловую филигрань видения, как злобно брошенный камень – стекло.

* * *

– Время истекло-о! Тупоголовые иваны... вы такие же упрямые бараны, как и ваш комбат! Ну, да чёрт с вами. Собакам собачья участь. Танкаев, слышишь меня?! Это я – твоя смерть. И за мной идёт ад! Будь ты пр-роклят, я рад, что в тебе не ошибся! Клянусь мечом Зигфрида, я уважаю настоящего противника! Слышишь меня, майор? Нас-то-я-ще-го. И потому я иду за твоей головой!

Голос фон Дитца, кратно усиленный динамиками, как жгучая плеть, ударил по слуху комбата. В памяти вспыхнул недавний разговор:

– Удивлён, майор, моему хорошему знанию русского языка? Что ж, я убеждён, надо знать язык врага, если хочешь его победить.

«Рыжий пёс...сын шакала...Дэлль мостугай! Чагъан!..– Магомед грязно выругался, шёркнул по лицу ладонью, будто смахнул холодную паутину. – Нет, никто ничего не забыл.

Именно этот заклятый враг, часто не давал уснуть ему, словно рядом с ним под шинелью лежал разлагавшийся труп.

– Магомед давно пытался свести счёты с этим эсэсовцем. Но как? Фронт диктует свои правила... Понятно, фон Дитц был одержим дьяволом. Человек, превратившийся в зверя. Но расчётливый, опытный и смертельно опасный. Сам метод избранный этим хищником: массовые расстрелы раненых, женщин и детей, смерть через повешение, казни посредством жестоких пыток, сбрасывание ещё живых людей в колодцы и угольные шахты, отрезание гениталий и голов красным командирам, изготовление из этих «трофеев» «фронтowych сувениров» – превосходил по своей дикой отвратительности всё, с чем приходилось сталкиваться на войне. А если что-то и было способно привлечь внимание, выдавших виды защитников Сталинграда, так это как раз нечто гиперужасное, именно в духе преступлений частей СС и, конечно, богатого на выдумку Железного Отто.

Судя по атлетической тренированной фигуре барона, по развитости его рельефной мускулатуры, он обладал не только лютой свирепостью наци к второсортным народам, но и быстротой реакции, ловкостью, но главное звериной силой. «Он по всему садист, маньяк, – итожил Магомед, – которому доставляет наслаждение внимание публики, равно как своих солдат, так солдат противника.

«После сражения под Чижовкой, кровопролитного штурма Воронежа, – думалось Магомеду, их пути разошлись. – След этого двуногого зверя всё больше остывал. Но нет! Злой рок, в лице штандартенфюрера СС, преследовавший Танкаева со времён взятия Шиловской высоты, никуда не делся. Саблезубый хищник лишь сделал большой рывок на юго-восток к Волге, что бы обогнав своего соперника снова выйти на его тропу.

– Вай-ме! Что такое? – прошептал он, смертельно побледнев. – Разве, такое возможно? Неужели... правда – «кьадар» – то, что старики в горах называют судьбой?

Он внутренне содрогнулся, зная, как закончилась жизнь многих красных командиров, его боевых товарищей, попавших в когтистые лапы этого кровожадного зверя.

...представил себя на мгновение у чёрного зева угольной шахты. Она жутко хрипела-стонала-выла полуживыми людьми... Ещё можно видеть перламутровый полумесяц луны, алмазную горсть далёких звёзд, круглое пятно фонаря конвоя, злобный лай немецких овчарок, косноязычный окрик своих палачей, чувствовать ледяное давление ветра.

...вдруг огромной силы опрокидывающий удар... Он бьётся головой, проваливается вниз в тесную щель, обдирая до кости губы, уши и лоб о выступы угольной тверди.

И вот оно – безумие и ужас!

...его, ещё живого, придавили новые сброшенные конвоем тела... скоро вся шахта до краёв превратится в копошащуюся грудку окровавленных, переломанных живых и мёртвых тел, мычащих от ужаса, боли, бессилия и удушья...

А сверху, как сырые могильные комья, всё падают и падают новые тела... и он хрипит, задыхается... Он никогда больше не увидит любимой Верушки... своих родных: отца-мать, братьев-сестёр... свою прекрасную Ураду, свой солнечный Дагестан!

Эта мысль раскалённым шампуром пронзила сердце, шибанула в виски, в окаменелые жилы. И всё в нём мгновенно вскипело, взбурлило жаждой жить, любить, мстить – уцелеть любой ценой, отшатнуться от страшной шахты.

«Вот оно... Начинается!» – задыхаясь подумал он, охваченный ненавистью и сдавленной тяжестью надвинувшихся предчувствий. Сердце его тяжело застучало. Он расправил поникшие плечи, и вдруг услышал собственный голос. На родном аварском он шептал молитву: «Бисмиллагъи ррахІмани ррахІм...»

На его плече сомкнулась чья-то ладонь. Он резко обернулся, чувствуя, как грудь и спина взялись испариной. Его Вера маленькая красивая, похожая на цветок, смотрела на него потем-

невшими от беспокойства фиалковыми глазами, мучительно морщась, ломала брови, растерянная, дрожащая.

– Ты слышал? Это...он?! Фон Дитц?

– Вера...Верушка! Ты, не ранена? – он взволнованно оглядывал её с ног до головы.

– Нет, не тревожься.

– Что-о? Тяжело тебе, да?

– А вам разве лего, товарищ комбат?

– Э-э! Зачем ты здэс? Уходи отсюда, женщина!

– Миша, миленький. Не гони, я – с тобой!

– Отставит! Ты что, опозорит, погубит меня хочэш-ш, в глазах батальона? Отставит, боец Тройчук, – он чужими гневными глазами уставился на неё. – Где вы должны быт?

– В блиндаже связи, товарищ...Ми-ша-а! – она бросилась к нему на грудь. Боюсь, боюсь! За тебя...За нас! – она заклевала его поцелуями, бурно дышала. Касаясь пальцами его медных скул, часто повторяла:

– Погоди, погоди, родимый...ой, дура...что-то хотела сказать...

– Уходи! Немэдленно уходи. Здэс опасно! Кругом, марш!

– Да, да...Конечно...Так точно, товарищ...Мишенька-а! – вера взвизгнула от отчаянья, боли сердечной, будто невидимый кнут плотно обвил её лицо.

Он оторвал от себя исступлённо целовавшую его Веру, тирком поцеловал её в губы, оскалил белые плотные зубы, рыкнул, не оборачиваясь пошёл по траншее. Позади, у миномётного расчёта Овчаренко, осталась Вера. Магомед не оглянулся ни разу, не видел её бледного, опрокинутого лица, хлынувших слёз из широко открытых немигающих глаз.

Вера, не чувствуя ног, пошла прочь, и не было сил в её руках, что бы утереть слёзы, падавшие с длинных чёрных ресниц.

За спиной с ехидцей хахакнули миномётчики:

– Да-а, девка...Влипла-а, как муха в смолу...

– Ха! Известно дело. Абрек не подарок. Из камня проще слезу выжать.

– И куда только наш товарищ старший политрук смотрит. Это ж...на фронте...моральное разложение, так, старшина?

– Не знаю, – буркнул в сивый карниз усов Матвеич.

– А я знаю. Потому, как красному командиру надо держаться подальше от юбок. Устав запрещает. Какой он пример подаёт солдатам своим?

– А ну, заткнись, мозготрёп. Не твоего ума дело. Ты это...Комбата не трожь! А баба, она и есть баба. Кошка и та...ласково слово ждёт. Цыть! О немцах думать надо, о враге!

– О враге? – борзо откликнулся ефрейтор Певцов. – Эх, был бы у меня такой матюгальник, как у гансов, я бы им-падлам...тоже кое-что ядрёное сказал, без переводчика. Немчики...немчура...немчуги, чтоб вам ни дна, ни покрышки! Глянь, братцы, немец какой хортый – гладкошёрстный хорь, холёный, упитанный гад! Не то что мы, кожа да кости – суповой набор. Вон одёжа от вшей шаволитца!

– Немудрено, – усмехнулся Матвеич. – Из окружения шли два месяца по колено в грязи, тут любой запаршивеет.

– Что ж будет то ныне, старшина? Огребём по полной, с солнышком прощаться будем. Силища-то какая пр-рёт!

– Не бойсь, робяты. Оно, ведь, как...Пошёл кабан медведя пужать...А ну, айда по местам!

Сними переливами играл дневной свет. Чётко, как врезанный в снег, зубчатился впереди пограничный полу сгоревший забор, и, прикрывая нежную сиреневую дымку неба, темнели заводские циклопические корпуса.

Глава 9

Чу! – вся многокилометровая линия Сталинградской обороны вдруг услышала гул с западной стороны. От промзон заводов СТЗ, САЗ, «Баррикады», севернее от речки Орловки и ниже по Волге в районе Мамаева кургана, красной слободы, Ельшанки, Митино, Купоросное, – будто случился тектонический сдвиг, вызванный землетрясением. Взгляды всех были прикованы к западной стороне. Там, над дымившимися развалинами, казалось, поднималась в небо грандиозная свинцовая стена. Гребня её видно не было, она возносилась подобно стальному занавесу, и точно кроила небо на две половины. И та половина неба, что тянулась за Волгу, на восток была буро-чёрная, а к горизонту тёмно-серая с гнилой гранатовой прожилью, так что нельзя было понять, где кончается прикрытая белым могильным саваном земля и начинается небо.

...и сдавленный землёй и небом задышался чёрный день, и глухо и тяжело стонал, и с каждым вздохом выплёвывал из недр своих прогорклые дымы незримых, бурливших смолой и серой подземных кратеров.

Эта свинцовая стена медленно надвигалась, поглощая в толщах своих руины города, положительно всё, что попадалось на её пути. Точно чудовищная приливная волна, накатывавшаяся на город, неся с собой яхты, буксиры, корабли, паромы, катера, лодки, части разбитых причалов-дебаркадеров, дорожного покрытия, обломки самолётов, грузовиков, сломанные деревья и даже целые дома, иногда всплывавшие из её мутных, непроглядных глубин, как корпуса затонувших кораблей, что бы тут же снова исчезнуть в пучинах водоворотов.

...Танкаев, вместе с другими офицерами штаба на КП, напряжённо наблюдал за наступлением свинцовой стены; поймал себя на мысли, что оловянно-ртутное подбрюшье небосклона, в которое упиралась «стена», казалось огромным куском венецианского стекла.

Внезапно кто-то крикнул: «Воздух!» и порывисто указал рукой выше головы.

И точно! Опаловое подбрюшье неба, как сыр проточили чёрные точки. Их было больше, чем много. Осинный рой, наполняя воздух рёвом моторов, стремительно увеличивался в объёме и вскоре десятки эскадрилий Люфтваффе буквально заштриховали небо Сталинграда своими крестовыми фюзеляжами, крыльями и хвостами.

* * *

Снова безумие и ужас...

Среди чугунного от дымов неба, немецкие бомбардировщики и штурмовики разных мастей создали огневую завесу, не оставляющую места воображению. Она, бушующая, косматая, дикая покрыла весь фронт сталинградской обороны и даже вырвалась за границы плацдарма. Мечущийся огненный вал выжигал траншеи и доты, блиндажи и подвалы, тяжёлые многопудовые фугасы обваливали перекрытия и без того разрушенных домов, складывали пополам, ровняли с землёй хозяйственные постройки-гаражи, рушили-обваливали до фундамента обгорелые многоэтажные стены, наполняя округу клубами пыли и тысячами раскалённых осколков. Одновременно по всему фронту загрохотали длинноствольные сверхмощные гаубицы Круппа – «берты». Немцы с каждой минутой наращивали силу огня и вели теперь массивный многослойный огонь решительно из всех видов оружия: от беспрерывно паливших-хлопающих батальонных-полковых миномётов до дивизионных батарей тяжёлой артиллерии.

6-я армия генерала Паулюса готовилась к наступлению и показала русским, что в последнее несколько недель времени зря не теряла, и ей было не до сна. Все участки промзоны, вплоть до береговой полосы была накрыта таким бешеным огнём, что люди зарывшиеся по ноздри в землю, и впрямь подумали, будто на них обрушился ад.

...Батальоны 472 полка, равно, как и другие боевые части 100-й дивизии оказались в самом центре этого чудовищного пекла, и было совершенно невозможно добраться из схрон-убежищ до своих танков, самоходок или перебежать из блиндажа в подвал соседнего дома...

Святой Боже! Солдаты, ужавшись в траншеях, в бетонных узилищах, казались пьяными: некоторые страшно ругались, другие истошно хохотали, третьи, угнув головы к земле, фанатично молились, иные сбившись, плечо к плечу, будто окаменели. Тот, кто в горячке психоза, в лихорадке безумия поднимался в рост и что-то орал, проклиная судьбу – тут же падал кровавым мешком, наспигованный горячим свинцом, как дешёвая колбаса перцем и чесноком.

...Взводные-ротные командиры были в отчаянье, от невозможности быть рядом со своими бойцами, не в силах облегчить их долю, привести в чувства обезумевших людей. Смерть косила каждого, кто пытался хоть приподнять голову.

...Черёмушкин, в глазах которого плескался ужас, судорожно перебирал красными, что рябина, озябшими пальцами остроконечные патроны пулемётной ленты, как чернорясник чётки. Рядом с ним, на дне окопа лежал вниз лицом командир взвода лейтенант Замотохин. На спине горбом бугрилась испачканная глиной шинель с оторванным хлястиком, обнажая крепкие, напряженные мускулами ноги в защитного цвета галифе и, съехавших к низу яловых сапогах, со стоптанными на сторону каблуками. На нём не было ушанки, не было и вершушки черепа, чисто срубленной осколком снаряда; в порожном срубе затылка обрамлённом коротко стриженным волосом, светлела розовая вода, – растаявшего снега. С другой стороны от рядового Черёмушкина, там, где окоп делал крутой изгиб, лежало что-то страшное, – мятый грязный, до черноты пропитанный кровью комок, из которого уродливо торчала задранная вверх нога... Черёма знал, что это был Санько Куц – славный хлопец из Белой Церкви. Знал, но не мог поверить... Не мог и смотреть в ту сторону.

– Ты чо? Чо задумал, Черёмушкин? – заикаясь, клацая зубами, прохрипел Буренков, не отрывая сосредоточенных глаз от солдата, который, держа в горсти, набожно целовал нательный крест. Христос на тёмном распятии, казался длинной серебряной каплей, стекавшей к подножию. Невидимой преградой, состоявшей из дыхания, сердечных биений и горячих молитвенных мыслей, Черёма заслонял и матерью надетый на его шею крест, и свою православную веру от грубых, разрушительных слов Григорича, и те, как колючие репы, отскакивали и падали в стороне у его ухлюстанных багровой грязью сапог.

– Да ты... никак из поповичей, паря? Как же эта, Черёмушкин? Ты ж комсомолец, понимаешь! В партею, вроде мылился вместе с Чугиным, ась? Чо молчишь булыгой? Раньше болтал, как радио, хрен отключишь. Всё было понятно: что и почему... А теперь, понимаешь – могила? Эй, эй, со мной так нельзя, со мной так не надо! Ят знаю, ты политически грамотный, подкованный на все четыре копыта, но со мной так не моги-и...

– А ты, что особенный что ли, Буренков? Как ариец, высшего сорта? – слабо усмехнулся Черёма. – Так это, дядя... в тебе значит буржуазный национализм проклюнулся.

– Эт, кто «проклюнулся»? Где? У ковань?! Ты...эта! Эта-а!! Ты, чойт болташь, охальник! – Григорич не на шутку обеспокоенный «непонятками», заёрзал на ящике, будто на сковороде. – Ишь ты... Шибко грамотный, да? Тебя, похоже, матка в детстве о печь башкой шмякнула? Ну, прости на слове! Ты эта...Эта-а...только не молчи, студент! Думаешь, Буренков ни черта не понимает? Думаешь, у меня сердца нет?! Да в него, ежли хошь знать, – он с силой хлопнул себя грязной пятернёй по груди, – те же осколки попали, чойт и в нашего взводного Замотохина...и в Куца... Жаль, конечно, ребят... Молодые шибко, как и ты... жизни ещё не видели. Ну чойт, ты, крест-то целуешь, как бабу? Да будя, будя... Чойт тебе дал твой Христос, понимаешь? Даже сержантом не сделал! – злорадно хрюкнул Григорич, алея двойным подбородком, обнажая мелкие частые зубы. – Христос принял смерть за людей... И люди ему благодарны... Жертвуют собой за Христа...

– Ну ты газанул, Черёма! А за Родину, значитца – хрен?.. – силясь перекричать волчий вой мин и оглушительных разрывов, взвился Буренков. – Ишь ты-ы...добро тебе промыли мозги поповичи-недобитки, ничего не скажешь. «Жертвуют собой за Христа, говоришь?» Хаа! За того, кого нет, понимаеш! За дырку от бублика, понимаеш! Ну, ят погляжу, как ты, студент, буш жертвовать собой в бою за товарища Сталина...Фрицы того и гляди атакуют. Так и знай, попович, глаз с тебя не спущу! Буренков пуще набычился, но вдруг испытал дрожание рук, кое начиналось у него в момент наивысшего раздражения, после полученной им недавней контузии. – Ох, присмотреться к тебя надо, Черёмушкин. Могётъ и песни тебе советские поперёк горла, ась? Вот сдам тебя в комендатуру, студент...Тебе зараз мозги проветрят. Там не то, что офицеры, генералы плачут, как дети.

– Хороший ты дядька, Григорич, но дурак. Мышление у тебя ограничено. Я ж не о том, честное слово...– без злобы-ожесточённости ответил Черёма. И вдруг, ясно глядя на своего мучителя, с тихой открытостью сказал:

– Худо мне, страшно, Григорич. Веришь? Будто вся жизнь пролетает перед глазами. Словно – конец...Маму вот часто вижу...Стоит у ворот родная, прижимает к груди закутанную в полу сестрёнку, а ветер треплет, крутит на плечах её концы малинового платка...

Набрякший подозрением Григорич, обмяк, сдулся, как грелка: ровно тронул Черёмушкин его незарубцованную болячку.

– Так-то оно так, Черёмушкин... – он буркнул себе под нос, жмуря глаза от мерцавших ослепительных вспышек плотно ложившихся снарядов, что превращали каждую пылинку и волос в слепящую плазму, оплаывая в жидкое стекло бетонные стены, кирпичи и асфальт. Наружу из тёмных сот многоэтажек – вырывались жаркие, тугие хлопки, ревущее языкастое пламя. И всякий раз после разрывов, над серпантинном траншей крепко припахивало душным паром огромного мясного котла.

– Смерть-чёртова сволочь... – снова беспокойно хрюкнул Григорич. – Она баба лютая, неподкупная...уважения требуют...Думаешь, я её боюсь? Ещё как! Извини, подвинься...Ан дело тут обоюдоострое, паря. Смертушка...она, ведь, Черёмушкин, с другой стороны – ласковая паскуда. Помрёшь – отдохнёшь, от всего этого ужаса. Смерть всех усмирит, всех успокоит: и героя и труса, и слабого, и сильного. Ничего чувствовать-ощущать не будешь окромя покоя. Главное чоб не мучаться – бац и всё тут. Вечная тьма и сон.

Оба молчали замкнутые, прибитые очередным бомбовым ударом. Чёрные кистепёрые, тупорылые болванки сыпались на плацдарм из распахнутых днищ манёвренных бомбардировщиков Junkers Ju 88, как наколотые поленья из кузовов огромных самосвалов. «Юнкерсов» прикрывали звенья стремительных, вёртких «мессеров», подавляя огонь зинитчиков своими внезапными хищническими атаками.

...в дымовой морозной черноте дневного неба загорелось туманное зарево. Отразилось в расширенных зрачках танкаевцев, прынуло вниз, косое, пламенное, как железная ступа ведьмы. Врезалась на задах обороны в город, и там где оно коснулось каменной громады полуразрушенного прежде дома, образовался слепящий шар света, косматый огненный подсолнух, в котором расплавились и исчезли все жесткие очертания-контуры. Подсолнух держался секунду. Превратился в рубиновую сжимающуюся сердцевину, в густую, чернее чем ночь, пустоту, в которую улетело и кануло пространство площади, горбольницы, соседние дома, конный обоз из восьми подвод, окрестные фонари и деревья. Прожорливый рокот этой исчезающей земной материи дохнул в стёкла замаскированных грузовиков, колыхнул тяжёлые, гружёные боеприпасами машины, как морская волна лодки у пирса.

В следующее мгновение лошадиный рёгот – визг, резкие команды старшин и сержантов, треск пулемётов поглотил мощный, стремительно нарастающий гул. На них пикировало звено «мессеров».

– Возду-у-ух! Рассредоточиться-аа!!

– Ляга-а-ай!!

... Черёма и Григорич заворожённые крылатым ревушим ужасом, потрясённо глазели из-под замызганных слякотью касок на снижающуюся четвёрку стальных птиц. Где-то позади, на подъёме, у батареи капитана Антонова, яростно застучали-зачакали спасённые пулемёты «максим»; номера судорожно наводили орудия и в этот миг из-под крыльев винтовой машины что-то сорвалось и пугающе резко сверкнуло в косой полосе солнечного луча. Оглушительный грохот встряхнул блиндаж связи и припавших к крыльцу автоматчиков.

... второй, третий, четвёртый взрывы взвихрили на воздух балки и брёвна построек, чьи-то бездыханные тела, оторванную у бедра ногу в сапоге, голову без тела, которая без носа и глаз бешено вертелась в воздухе, как грязный, затоптанный, драный на швах футбольный мяч; на соседнем дворе предсмертным храпом захлебнулась с развороченным брюхом выючная лошадь. Острый серный запах гари принесло из-за расколотой надвое трансформаторной будки.

– Хоро-ни-и-ись, славяне! – гаркнул ротный Кошевенко, сбегая с крыльца. – Рожей в землю-у!!

Длинным прыжком он прыгнул в траншею, за ним следом сиганули ещё четверо.

... заваленное набок крыло сверкнуло алюминиевой плоскостью и тут же крылья мессера рассветились двумя жалящими цветками.

– Рр-ра-та-та-та-та-ти-таа-та-а-а! – огненными вспышками колокололи крупнокалиберные пулемёты. Словно двадцать-тридцать слепящих штыков один за другим с бешеной яростью вспороли обледенелые стенки окопов. Одна из штыковых молний, как сверкающая игла гигантской швейной машины, прошила багряный ком, из которого торчала задранная вверх нога, разорвала надвое. Вторая молния, будто копну сена, отшвырнула на пять метров, то, что прежде ещё с утра было живым и деятельным, весёлым и хитрым хохлом Санько.

Мессер с адовым рёвом, едва не касаясь антенн и маскировочных тентов, ещё крепче впаял солдат в землю. Пронёсся дьяволом, стал круто взмывать вверх, плавно занося хвост с чёрной свастикой в белом круге. Со взгорья стреляли пачками, грохотали залпами, пулемётная частуха очередей жарила баш на баш.

Григорич только что вбил новую обойму, как ещё более потрясающий взрыв швырнул его и Черёму на сажень вдоль днища окопа. Глыба земли присыпала их и ещё трёх стрелков из второго взвода, запорошив глаза, придавила могильной тяжестью.

* * *

Их вызволил, поднял на ноги старший сержант Нурмухамедов. Резь от набившейся земли не давала толком видеть; насилу прочистив снегом глаза, они узрели: доброй половины дома, что прикрывал их с правого фланга, нет... Красным уродливым месивом лежали кирпичи, над ними пышно курилась розовая пыль. Из-под обломка обгорелого бревна в распахнутом чёрном бушлате, изорванном тельнике лежал плотный морпех, без лица; на выпуклой груди косо застыла нижняя челюсть, ниже кудрявого чуба бурела укая полоса лба без бровей с опалённым лоскутом кожи... а в середине-обрывки сухожилий, иззубренный край костей и чёрно-красный глянec, будто клюква с сахаром в черпаке. Дальше в изватланных грязью телогрейках лежали ещё двое, другая пара в шинелях. Тот, что был основательнее других откопан сапёрными лопатками – совсем юнец, с веснушками и отроческим овалом лица, которого в батальоне старшие ласково кликали непременно – «Лёнька-братишка» или «сын полка»; по груди его резанула пулемётная струя, в четырёх местах продырявлена шинель, из отверстий торчали опалённые хлопья.

Командир роты Кошевенко в окружении взводных офицеров, срамно матерясь, подошёл к длинной стёжке трупов. Они лежали в накат, плечом к плечу в разбросанных позах, зачастую непристойных и страшных. Тут же похаживал стрелок с винтовкой, с марлевой повязкой до глаз. В центре трупов дышала угарной вонью глубокая воронка, обвалившая заднюю стену

траншеи более чем на семь метров. Около трупов была густо взмешена сырая земля, издали похожая на отварную гречиху; виднелись следы многих ног, глубокие шрамы в брустверах, оставленные осколками.

Капитан остановил напиравших стрелков и со взводными протиснулся к погибшим. Офицеры о чём-то жестоко и кратко говорили. В это время солдаты, изломав ряды, устроив толчею в траншее надвинулись ближе к трупам, снимая каски, ушанки, рассматривая убитых с тем чувством скрытого трепетного страха и звериного любопытства, кое испытывает всякий живой к сакральной тайне мёртвого. Тут же, чуть в стороне, виднелись – наскоро собранные в кучу куски конечностей, шмотья шинелей, рваные сапоги выше обреза голенищ забитые студнем кровавой плоти...

Кто-то молча крестился, кто смахивал слезу, кто-то глухо, давясь словами, клялся отомстить, смотрели ещё раз и поспешно, не оглядываясь, отходили. И после долго берегли молчание, пробираясь на позиции, спеша уйти от воспоминаний виденного.

...Суфьяныч, Буренков и Черёма насилиу пробилась вперёд. Остолбенели возле Лёньки-братишки, сомкнув губы, запоздало обнажив головы.

– Этот... этот малой в смертный час... ковань кликал? Мамку подишь? – глядя на Лёньку, дрожа подбородком, по-бабьи всхлипнул Григорич. Отвернулся и, глядя в сторону, зашагал прочь увалистой, медвежьей роскачью.

– Ну, какого х... стоим, товарищи красноармейцы?! – взорвался Кошевенко. На буром лбу, его выступил ядрёный зернистый пот. – Марш по места-ам! Эка звери, хамьё! Вылупились. Трупов не видели? Аль завидно мёртвым стало? Так успеется! Субботин, разберись со своим взводом.

– Есть! Взво-оод...

– Тьфу, кровишши-то! – Кошевенко чистил мысы сапог о снег.

– Ну так! Этому обое ноги оторвало, этому голову...

– Санитары где? Носилки?! Чёрт вас дер-ри...

– Да какие уж тут санитары, товарищ капитан... Будем живы, сами присыплем, – предложил старший Чижев.

– Добро. Ерёмин, Давыдов, за мной!

* * *

– ...отклевались стервятники, наглотались мяса и крови! – Танкаев бросил ненавидящий, полный огненной злобы взгляд на улетевшие бомбить переправу немецкие самолёты. Там – теперь клочкотала-бурлила Волга; там, взвихрялись хрустальные кипарисовые роши воды, окрашенные кровью пехоты, там под ревушим моторами-бомбами каменным небом форсировала кипящую воду 138-я сибирская дивизия. Там, за плечами, был ад. Здесь, на оплавленных, обугленных руинах Сталинграда был эпицентр его чистилища. Эта была битва за мир, за последние идеалы. Сталинград научил каждого осознать и прочувствовать до мозга костей, что такое Жизнь и Смерть.

Между тем свинцовая грозовая стена, плотно сотканная из дымов пожарищ, несусветной пыли, гари и чада выхлопных газов немецкой техники, сотен тысяч ног пехоты, с неотвратимостью Злого рока метр за метром пожирала последние проталины и островки свободных участков города. Теперь уже явственно был слышен ползучий гусеничный лягз тяжлых машин, рыкающий гул мощных моторов. Сквозь толстые подмётки сапог пугающе чувствовалась дрожь стонущей земли.

В эти, звенящие нервами, последние минуты перед атакой врага, Магомед Танкаевич ещё раз пробегался взглядом по стрелковым цепям, артиллерийским-миномётным батареям, укрытым в развалинах танкам, охраняя их всех своим тревожным, строгим, любящим чувством отца-командира.

Смотрел в суровые, замкнутые лица воинов, точно хотел запомнить их на всю жизнь. Вглядывался потому как знал: многих, очень многих он видит в последний раз.

Рукастый, жилистый Зоря сидел на корточках, оглаживая плоский, как блин, воронённый диск «дегтяря», и казался смертником, что наполнен иступлённой решимостью отдать свою жизнь в этой последней жестокой схватке...

Сержант Подкорытов, по прозвищу Корыто добивал окурок, воровато держал смятый мундштук папиросы в кулаке, выпускал струю дыма в порыжелый рукав шинели.

Старшина Петренко, «дядя Митя», «Василич», как уважительно звала его молодёжь, спокойно отвечал на вопросы своих бронбойщиков, будто они были вовсе не на линии огня, а сидели на пашне, в окружении грачей и рассуждали о будущем урожае.

Вылерий Рыбаков положил на колени снайперскую винтовку, туго запелёнутую грязными, серыми бинтами, не мигая смотрел на бурый затопленный снег.

Осетин Лазарь Дзотов из Дур-Дур Дигорского района с земляком Рутэном Абжандадзе, как обычно, горячо спорили: кто лучше готовит – грузины или осетины – сырные треугольные пироги, у кого вкуснее жарятся на углях рёбрышки и передние ножки барашка, у кого краше пиво...

Егошин Артур беззвучно шептал молитву, словно хотел испросить у Бога жизнь для своих сотоварищей, дать им возможность выстоять, не дрогнуть в бою.

Многих других верных бойцов фиксировал взгляд комбата Танкаева, но ещё больше – не находил, испытывая ноющую не утихавшую боль.

– Сейчас «крестовики» начнут долбать! – Ротный Безгубов нервно смотрел на часы, на передний край, где за развалинами рокотали моторы. Ожидал, когда на скорости, вращая катки, вырвутся танки. Наведут орудия, выпустят жидкое пламя и, дрогнув от грохота, снова исчезнут за домами.

Знал-учитывал всё это и комбат Танкаев, но приказ «открыть огонь», покуда держал за зубами. В тайниках души он вынашивал план, с которым поделился лишь с начальником штаба и командиром артиллерийской батареи капитаном Антоновым. План до смешного был прост, но чертовски эффективен, – наглухо блокировать танковую колонну фон Дитца, подбив пару головных машин впереди и пару замыкающих. Вопрос был в другом: выдвинется ли барон колонной, покажет ли уязвимые борта своих машин... или ударит в лоб по всей линии обороны? Если бы этот бой происходил на открытом пространстве, Танкаев бы и не ломал голову. Но бои шли в городе, в тесных ущельях улиц, на запруженных подбитой-сгоревшей техникой площадях и это давало шанс. Более того, позиции танкаевцев тянулись по верху искусственного земляного возвышения, которое от бульвара было отделено бетонным бордюром, с узкими для пешеходов лесенками. Высота заграждения была не велика, не многим более метра, однако его конструкция под прямым углом, внушительная толщина, за которой сразу же шёл земляной вал, да и сама протяжённость, – становилась для танков врага серьёзным препятствием. Но и это ещё не всё...

В трудных, отчаянных переплётах Танкаев всегда полагался на интуицию. Как волку, вышедшему на тропу крови, инстинкты предков подсказывают, куда жертва бросится от его клыков и когтей, так и Магомеду сыну Танка природное чутьё подсказывало, что враг вынужден, будет выбрать именно этот путь. В памяти стрелой промелькнул разговор в штабе полка...

– ...Конечно, это крайне самонадеянно, чистой воды безрассудство...но дерзкое и, бес его дери, красивое безрассудство! Похвально, майор, – отрываясь от оперативной карты, кивнул седой головой начштаба. Но ежели на чистоту, что-то мало мне верится в успех...Штан-дартенфюрер СС фон Дитц матёрый зверь. Этого саблезуба на ложном следе не проведёшь....

– Готов взят все последствия операции на себя, Борис Константинович-ч.

– Экий ты скорый,. Танкаев! Как бы в горячке...дури не напороть! А гибель батальона...в случае провала? Ты, тоже готов взять на себя?!

– Мертвые сраму не имут. А если фашист к Волге выйдёт? Что товарищу командующему Чуйкову докладывать будете? – сверкнул глазами комбат.

– Майор-р! Здесь я распоряжаюсь! Мне дела нет до благосклонности к вам комдива Березина, – налился жаром начштаба полка.

– Вот я и жду ваших распоряжений, товарищ подполковник.

– Эх, язвить тебя в душу, джигит. И родят же таких настырных горы!

Ивченко хрустнул суставами пальцев, выбил из пачки папиросу, пыхнул дымком. Глянул искоса на бравого горца.

– Хм, с другой стороны, майор...победу не выбирают, её добывают. Значит говоришь: побеждает тот, кому принадлежит инициатива?

– Так точно.

– Ну, а сам, что думаешь? Пан или пропал?

– Так точно, рискованно.

– Вот и рискуй. Это война, майор. Кто хитрей, кто смелей – тот и цел. Отступить, один чёрт, некуда. Живы будем...Жду тебя на чай с огурцом, Танкаев. За мной не заржавеет.

Глава 10

Мистический сон, который преследовал Железного Отто раз за разом, вновь повторился. Сон, который протащил его со своим ударным танковым батальоном через огромную западную часть большевистской России из оккупированной Скандинавии.

Впервые он приснился ему три месяца назад и повторялся потом таинственным образом, снова и снова. ...

В этом вещем сне – он всякий раз находился в бронированном доспехе своего 60-тонного гиганта мощностью 700 лошадиных сил. «Тигр» по имени «Конрад» продвигался по разбомбленному городскому шоссе, вдоль которого с двух сторон стояли продуваемые ветрами скелеты выжженных изнутри многоэтажных домов и покосившиеся виселицы разбитых фонарей.

...Свет был какой-то странный гранатово-красный и мутный, будто солнце застряло на границе горизонта в каменных челюстях гор.

...На нём был чёрный по фигуре комбинезон и чёрный, с каучуковым ободом глянцевитый противоударный шлем, на руках перстатые кожаные краги, а за пятнистой кормой его танка гремела-лязгала сталью целая армия механизированных частей Вермахта, на самых разных боевых машинах, какие только мог вообразить возбуждённый ум. Моторы их ревели, как огнедышащие драконы. Эта армия, выкованная для побед, выглядела грозной, непобедимой железной армадой: гусеницы, колёса, копыта и сапоги которой пережёвывали-перемальывали в крошево-пыль решительно всё, что встречалось на её пути. Их были тысячи, возможно, сотни тысяч, их тренированную, закалённую в боях плоть прикрывали ладно скроенные мундиры Третьего Рейха, выдавшие виды, выцветшие на солнце, задубевшие от пота и крови пройденных дорог и пролитой крови покорённых народов. Стальные тевтонские каски рябили-мерцали в многокилометровых шлейфах пыли, как свинцовые волны сурового Рейна; фары бронированной техники зловеще светились в пепельном безбрежье барханов руин, словно глаза хищников, мигали рубиновые угли габаритов...И под грохот наступательного маршевого шага, под журчливый гусеничный лязг, под треск полковых барабанов, они вдруг начали тянуть все громче и громче бравую песню, состоящую из одного слова: «Фюрер. Фюрер! Фюрер!! Фюрер!!!»

В этом чарующем, пророческом сне Отто видел грандиозную панораму: ещё не остывшей от пожарищ, курящийся седыми-грязными дымами, стёртый с лица земли злой Сталинград...Багровую от крови Волгу, запруженную трупами иванов, круто вышедшую из берегов...Понтонные мосты инженерных частей, сковавшие вольную грудь великой русской реки, что упирались в противный чугунный берег...Впечатляющую переправу войск великой армии Третьего Рейха...И свежий дорожный указатель со стрелкой на северо-восток, на белом щите которого чётким готическим шрифтом чернел трафарет «Москва. 970 км».

Зиг хайль! Колоссаль! Endgeil!

...А две ночи назад с ними случился приступ лунатизма. Дважды он просыпался, открывал глаза и обнаруживал что стоит – в буквальном смысле! – снаружи своего постоянного двора, где ему с адъютантом и денщиком пришлось ночевать в спартанских условиях три недели подряд, дожидаясь от командования 6-й армии нового решительного наступления.

...Каждый раз его будил голос, усталый голос шестнадцатилетней проститутки, с которой он скрашивал свои военные будни, – худощавой длинноногой норвежской девушки Марэт с блестящими, белыми, как лён, волосами и глазами смотревшими так, будто ей было все сорок. Она настойчиво звала его с порога: «Гер полковник, гер полковник...Где вы-ы? Мне холодно, зябко!..Ответа не было. Но она упрямо продолжала стоять на крыльце в прозрачном кружевном пеньюаре, в длинных вязанных скандинавских гетрах, выставив чуть вперёд перламутровое колено, освещённая тусклым шафрановым фонарём. Ветер трепал её волосы, стягивал с плеч

розовый пеньюар, обнажая крепкие, заметно выпиравшие небольшие с кулак, груди, обведённый тенью плоский живот со смуглой ямкой пупка, крохотный лунный осколок лобка.

– Гер полковник! Зачем ушли? Надоела вам? – вскрикивала в темноту она, горестно, каждый раз пугаясь ответного молчания. – Прогонишь – в реку брошусь! Или на перекладине удавлюсь! Бог свидетель, будет моя смерть на вас, гер полковник! – наивно угрожала она, растирая смявшиеся от холода соски.

...но за мгновение до того, как её зовущий хныкающий голос достигал полу спящего сознания Отто, ему казалось, что он слышал другой голос, далёкий и холодный, словно арктический ветер, дующий сквозь его душу. И ветер этот привычно шептал всего три слова: «Следуй за мной». И каждый раз, просыпаясь в этот момент, Железный Отто обнаруживал: он стоит лицом на Восток.

...Но в эту ночь сон был много богаче на события, чем прежде. Сквозь паранджу дымов и всполохи огня он силился услышать путеводный вездесущий глас Повелителя, приказание, кое когда-то прозвучало в сознании с такой силой, что мозг его едва не раскололся на части. Ему вдруг снова увиделся мерцающий синим свечением угнездившийся на отвесной гранитной скале, угрюмый, гордый в своём одиночестве готический замок, начертанный словно электрической искрой на фоне чёрного неба.

«Scheibe! Что со мной? Что это?.. – мучительно думал фон Дитц. – Окопная лихорадка? Эхо контузий? Фата Моргана? Или голос Рока, зовущий с Запада?» Был ли это то самый голос, который он слышал в духоте летней воронежской ночи? Или в тяжком воздухе того африканского лазарета в пустыне под Бенгази, когда двигаясь по береговой дороге через Эль-Ангели, Анжедаби, Мишли танки и мотопехота Африканского корпуса Эрвина Роммеля теснили англичан. Что-то звало, тянуло его всякий раз сюда, в волжские степи, на берега могучей древней реки. Он был в этом уверен, как и во всём том, что видел и делал за свою жизнь, за годы, проведённые в подразделениях штурмовых отрядов СА, а позднее в СС, где все командиры именовались фюрерами, то есть вождями-руководителями, начиная от роттенфюрера (ефрейтор в армии) до самого высокого – оберстер – СА – фюрера. Это звание носил сам Адольф Гитлер. «А может, – подумал Отто, – это вовсе и не рок звал меня, – он судорожно усмехнулся при мысли об этом, – быть может, эта звала меня сама Смерть? Вот так, взяла безносая сука, да и воткнула в гнездо линии, ведущее напрямик в мой мозг, штепсель своего телефона, набрала номер своим милым костистым пальцем: «Это ты?.. А это я... Жду, следуй за мной...»

Как знать? Возможно, так оно и было... И чёрт побери, какая разница между смертью и судьбой? Обе химеры в конце концов вколотят тебя в одну и ту же яму, вырытую в земле.

...Перед глазами промелькнули: грандиозные под барабанный бой ритуальные факельные шествия, грозные пламенеющие штандарты с рыцарскими крестами и свастикой, нацистские приветствия, неистовые, полные очистительного огня и яростного побуждения к действию-обращению фюрера к нации. Во всей красе новая геральдика-атрибутика, при этом создателями оного – активно использовалась давняя неистребимая притягательность в глазах немцев и женщин, и мужчин красивой в своей воинственной строгости униформы, зловещей символики и прочих всяческих военных аксессуаров, которые красноречиво сообщали к какому разряду-категории новых армейских-полицейских структур Третьего Рейха относится тот или иной субъект.

...Вспоминая фюрера, Отто вспомнил и других вождей движения. В большинстве своём это были ветераны – недавние участники I-й Мировой войны, социально дезориентированные, страшно озлобленные поражением Германии, своим продажным либеральным правительством, унижительными условиями Версальского договора, жуткой безработицей, чудовищной инфляцией, нищетой и откровенным жидовским засильем.

Перед его мысленным взором всполохом промелькнули лица ближайших соратников фюрера времени «первых рубежей». Предводитель штурмовиков неистовый Эрнст Рем, гиган-

томан и отчаянный прожектёр Герман Геринг, гипер-радикальный идеолог нацизма, расовый доктрины Роберт Лей, Юлиус Штрейхер – патологический антисемит и прирождённый палач. От членов других военизированных организаций штурмовики СА отличались зверской жестокостью-агрессивностью, круглосуточной готовностью и нацеленностью на кровавые драки, жуткие пытки, убийства.

Политическая программа Гитлера – знаменитые «25 пунктов», умещавшиеся на полутора страницах машинописного текста, была до изумления проста и нереальной для выполнения, но ориентированной именно на таких фанатиков, вернее на питавшие их классы и социальные слои униженной Германии. А потому и работала эта программа на все 100% – без боёв!

К моменту прихода НСДАП к власти в СА состояло уже свыше трёх миллионов человек. К этому времени Гитлер прозорливо и своевременно создал в недрах штурмовых отрядов, а более в противовес им новую архевоенизированную, с железной дисциплиной структуру, которая, в конечном счёте свела на нет влияние и реальную угрозу со стороны СА. Это были так называемые «шутцштаffelън» – отменно подготовленные и вооружённые первоклассным оружием – «охранные части», или сокращённо «СС». В отличие от коричневых рубашек, чёрных бридж, круглых фесок с козырьком и высоких сапог СА, повседневная униформа СС была чёрной, как смоль. Эмблемой СС стало серебристое изображение «мёртвой головы» (череп над скрещёнными костями и рунические знаки молнии «SS», соответствующие латинским литерам «SS»).

...внезапно электрическая искра снова в мгновения ока начертала контур средневекового замка, который был теперь значительно ближе... На самом краю каменной бездны, как стервятник, усевшийся на вершущке скалы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.